

ЕСЛИ ОДНАЖДЫ ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ ПУТНИК…

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Итало Кальвино
Если однажды зимней ночью путник…

Italo Calvino
Se Una Notte D’inverno un Viaggiatore

* * *

Даниеле Понкироли

Глава первая

Ты открываешь новый роман Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник». Расслабься. Соберись. Отгони посторонние мысли. Пусть окружающий мир растворится в неясной дымке. Дверь лучше всего закрыть: там вечно включен телевизор. Предупреди всех заранее: «Я не буду смотреть телевизор!» Если не слышат, скажи громче: «Я читаю! Меня не беспокоить!» В этом шуме могут и не услышать. Скажи еще громче, крикни: «Я начинаю читать новый роман Итало Кальвино!» А не хочешь – не говори: авось и так оставят в покое.

Устройся поудобнее: сидя, лежа, свернувшись калачиком, раскинувшись. На спине, на боку, на животе. В кресле, на диване, в качалке, в шезлонге, на пуфе. В гамаке, если есть гамак. На кровати. Разумеется, на кровати. Или в постели. Можно вниз головой, в позе йоги. Перевернув книгу, естественно.

Идеальной позы для чтения, ясное дело, не найти. Одно время читали стоя перед подставкой для книг. Привыкли стоять как вкопанные. Это считалось отдыхом после утомительной верховой езды. Никому еще не приходило в голову читать на скаку. Хотя мысль заняться чтением в седле, водрузив книгу на загривок или приладив ее к лошадиным ушам специальной упряжью, кажется тебе заманчивой. А что, наверное, это удобно – читать, вдев ноги в стремена. Хочешь сполна насладиться чтением – держи ноги на весу. Первейшая заповедь.

Ну вот, чего ты ждешь? Вытяни ноги, положи их на подушку, на две подушки, на спинку дивана, на подлокотник кресла, на чайный столик, на письменный стол, на пианино, на глобус. Но сначала сними тапочки. Если охота задрать ноги повыше. Если нет – надень тапочки. Только не сиди теперь с тапочками в одной руке и с книгой в другой.

Направь свет так, чтобы не уставали глаза. Желательно сделать это сразу, а то, когда начнешь читать, тебя уже не сдвинуть с места. Страница не должна оставаться в тени, иначе она превратится в крошево черных букв на сером поле, неразличимых, как стая мышей. Да смотри, чтобы на нее не падал слишком яркий свет, он будет

отражаться от нестерпимо белой бумаги, обгрызая оттененные кромки шрифта, словно в знойный южный полдень. В общем, заблаговременно позаботься обо всем, дабы не отвлекаться от чтения. Ты куришь? Сигареты и пепельница должны быть под рукой. Что еще? Надо пописать? Сообразишь – не маленький.

Не то чтобы ты ждал чего-то особенного, в особенности от этой книги. Ты уже из принципа ни от кого ничего не ждешь. Многие, кто помоложе, кто постарше тебя, пребывают в ожидании необыкновенного от книг, людей, путешествий, событий – словом, от всего того, что готовит нам день грядущий. Многие, но не ты. Ты прекрасно знаешь: лучше уже не будет, не было бы хуже. К такому выводу ты пришел не только из собственного, но и всеобщего, чуть ли не всемирного опыта. А что же книги? Так вот, когда ты понял, что на лучшее рассчитывать нечего, ты решил ограничиться довольно узким миром книг. Может, хоть здесь получишь удовольствие. Как в молодости, когда вечно на что-то надеешься. Плохо ли, хорошо ли выйдет – неизвестно. А разочаруешься – невелика беда.

Из газет ты узнал о новой книге Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник». Автор уже несколько лет ничего не издавал. Ты пошел в книжный магазин и купил книгу. И правильно сделал.

Еще на витрине ты заметил нужную обложку. Зрительный след повел тебя вдоль плотных заслонов из Книг, Которых Ты Не Читал. Насупившись, они устрашающе поглядывали на пришельца с полок и прилавков. Но ты не должен поддаваться их внушению. Ты знаешь, что на книжных просторах десятки гектаров занимают Книги, Которые Можно И Не Читать; Книги, Написанные Для Чего Угодно, Только Не Для Чтения; Уже Прочитанные Книги, Которые Можно Было И Не Открывать, Поскольку Они Принадлежали К Категории Уже Прочитанного Еще До Того, Как Были Написаны. Ты одолел передовой пояс укреплений, и тут на тебя обрушиваются ударные силы пехоты, сформированные из Книг, Которые Ты Охотно Бы Прочел, Будь У Тебя Несколько Жизней, Но Жизнь, Увы, Всего Одна. Стремительным броском ты обходишь их и попадаешь в самую гущу Книг, Которые Ты Намерен Прочесть, Но Прежде Должен Прочесть Другие Книги; Слишком Дорогих Книг, Покупать Которые Ты Подождешь, Пока Их Не Уценят Вдвое; Книг, Которые По Тем Же Причинам Ты Купишь, Когда Они Выйдут В Карманных Изданиях; Книг, Которые Ты Мог Бы

Взять У Кого-Нибудь На Время; Книг, Которые Читали Все, Поэтому Можно Считать, Что Ты Их Тоже Читал. Отразив эти наскоки, ты вплотную подступаешь к стенам крепости, где заняли оборону

Книги, Которые Ты Давно Уже Наметил Прочесть;

Книги, Которые Ты Безуспешно Искал Годами;

Книги О Том, Чем Ты Занимаешься В Данный Момент;

Книги, Которые Желательно Иметь Под Рукой На Всякий Случай;

Книги, Которые Ты Мог Бы Отложить, Скажем, До Лета;

Книги, Которых Недостает На Твоей Книжной Полке Рядом С Другими Книгами;

Книги, Неожиданно Вызывающие У Тебя Жгучий И Не Вполне Оправданный Интерес.

Ну вот тебе удалось поубивать воинственные полчища. Их все еще много, но они уже поддаются исчислению. Впрочем, относительное затишье нет-нет да и нарушается дерзкими вылазками. Засаду устроили Книги, Прочитанные Давным-Давно; Теперь Настало Время Их Перечитать. Вместе с ними окопались Другие Книги; Ты Постоянно Делал Вид, Будто Читал Эти Книги; Пришла Пора Действительно Их Прочесть.

Ты резко сворачиваешь вправо, затем влево, уходишь от засады и с наскока врываешься в крепость Новинок, Автор Или Тематика Которых Тебя Привлекают. Внутри этой цитадели ты можешь пробить бреши в рядах защитников, разделив их на Новинки Неновых (для тебя или вообще) Авторов Или Тематик и Новинки Совершенно Неизвестных (во всяком случае, для тебя) Авторов Или Тематик, и заодно определить, насколько они тебе интересны, исходя из твоих желаний, а также потребностей в новом и неновом (в новом, которое ты ищешь в неновом, и в неновом, которое ты ищешь в новом).

Словом, бегло взглянув на названия книг, выставленных в магазине, ты прямиком направляешься к стопке свежеизданных «Если однажды зимней ночью путник», берешь один экземпляр и относишь его в кассу, чтобы установить на него твое право собственности.

Напоследок ты обводишь растерянным взглядом шеренги книг (вернее, это книги уставились на тебя в растерянности, как собаки, провожающие из клеток городского приемника своего бывшего товарища, которого уводит на поводке хозяин) и выходишь из магазина.

Есть особая прелесть в новой, только что изданной книге. Ты несешь с собой не просто книгу, но ее новизну, сравнимую хотя бы с новизной фабричного изделия. Недолговечная красота молодости свойственна и книгам. Она радует взор, покуда ранней библиотечной осенью не начинает желтеть обложка, не покрывается пепельным налетом обрез, не обтрепываются уголки переплета. Нет, каждый раз ты чаешь натолкнуться на истинную новизну: пусть, оказавшись однажды новизной, она пребудет ею навсегда. Прочитав едва вышедшую книгу, ты завладеешь ее новизной с первого мгновения, и тебе не нужно будет гнаться за ней по пятам. Что, если это тот самый случай? Кто знает. Посмотрим, как она начинается.

Скорее всего, ты принялся листать книгу еще в магазине. Или не смог – помешал плотный целлофановый кокон? Сейчас ты зажат в автобусной давке – повис, ухватившись за поручень, свободной рукой пытаешься развернуть бумажную обертку, совсем как обезьяна, которая одной лапой очищает банан, а другой уцепилась за ветку. Осторожно, ты пихаешь локтями соседей! Хотя бы извинись.

А может, книгопродавец и не заворачивал книгу, а вручил ее в полиэтиленовом пакете? Это упрощает дело. Ты за рулем своей машины. Остановился у светофора, достаешь книгу из пакета, разрываешь прозрачную упаковку, пробегаешь первые строки. На тебя накатывается шквал автомобильных гудков: загорелся зеленый свет, и ты застопорил движение.

Ты за своим рабочим столом. Книга как бы невзначай лежит среди деловых бумаг. Ты отодвигаешь одну из папок и прямо под носом обнаруживаешь книгу. С рассеянным видом ты открываешь ее, упираешься локтями в стол, стискиваешь виски сжатыми в кулак ладонями. Можно подумать, что ты углубился в изучение какого-то документа, на самом деле ты поглощаешь первые страницы романа. Медленно ты откидываешься на спинку стула, приподнимаешь книгу на уровень носа, легонько заваливаешь стул на задние ножки, выдвигаешь боковой ящик стола, чтобы положить на него ноги – положение ног во время чтения имеет первостепенное значение, – вытягиваешь ноги на поверхности стола, придавив ими бумаги, и без того лежащие мертвым грузом.

Тебе не кажется, что ты ведешь себя пренебрежительно? Пренебрежительно, разумеется, не в отношении работы (никто не

собирается обсуждать твои профессиональные качества: допустим, твоя деятельность органично вписывается в непроизводственную сферу, составляющую весомую долю национальной и мировой экономики), а в отношении новой книги. Еще хуже, если ты принадлежишь – волей-неволей или вольной волей – к числу тех, для кого «работать» означает «работать всерьез», совершать – намеренно или без всякого умысла – нечто необходимое или по крайней мере небесполезное для других, а не только для себя. Тогда книга, которую ты принес на рабочее место в качестве этакого амулета или талисмана, неумолимо искушает тебя, отвлекая на короткие мгновения от главного объекта твоего внимания – будь то электронный перфоратор, кухонные горелки, рычаги управления бульдозером или пациент, лежащий на операционном столе со вспоротым брюхом.

Короче, поумерь свой пыл. Придешь домой – там и раскроешь книгу. Вот сейчас – пожалуйста. Ты тихо-мирно сидишь у себя в комнате, открываешь книгу на первой странице, нет, на последней: сначала хочется посмотреть, не очень ли она длинная. К счастью, не очень. Сегодня длинные романы, наверное, лишены смысла. Понятие времени разлетелось на куски. Мы не в состоянии жить или думать иначе, как короткими временны́ми отрезками, каждый из которых удаляется по собственной траектории и молниеносно исчезает. Непрерывность времени можно обрести разве что в романах той эпохи, где время уже не выглядело неподвижным, но еще не взорвалось, эпохи, продлившейся лет сто, не больше.

Ты вертишь книгу в руках, просматриваешь аннотацию на тыльной стороне суперобложки и на отгибе – общие, мало что говорящие фразы. Тем лучше: к чистому голосу книги не должны примешиваться посторонние голоса. Ты должен взять от книги свое без помех. Не важно, много или мало. Конечно, все это обхаживание книги, обчитывание книги, предваряющие собственно чтение, является частью удовольствия, получаемого от новой книги. Как всякое начальное удовольствие, оно длится ровно столько, сколько надо, если мы хотим, чтобы за ним последовало особое удовольствие от самого действия, то есть от чтения книги.

Итак, ты готов вкусить первые строки первой страницы. Ты приготовился распознать неповторимую манеру авторского письма. Не тут-то было. Ты совсем ее не узнаешь. Да и кто вообще сказал, что у

нашего автора неповторимая манера письма? Скорее известно, что от книги к книге он меняется почти до неузнаваемости. Именно благодаря такой изменчивости мы его и узнаем. Правда, на сей раз кажется, будто он не имеет ни малейшего отношения к написанному им ранее, во всяком случае к тому, что ты помнишь. Ты разочарован? Поживем – увидим. Поначалу ты слегка сбит с толку. Такое бывает: встретишь человека, которого представлял себе совсем иным, и никак не можешь совместить его облик со своим представлением. Но ты не останавливаешься. И чувствуешь, что книга все равно читается. Независимо от того, чего ты ждал от автора. Книга захватывает тебя сама по себе. Если разобраться, так даже лучше. Нежданно-негаданно ты обнаружил перед собой неизвестно что.

Если однажды зимней ночью путник

Роман начинается на вокзале. Пыхтит паровоз. Натужный выдох шатуна заполняет раскрытую главу. Клубы пара обволакивают краешек первого абзаца. К вокзальным запахам добавляется ароматное дыхание привокзального буфета. Кто-то смотрит сквозь мутные стекла, открывает застекленные двери бара. Внутри повисла легкая дымка. Все выглядит размыто, словно увиденное близорукими или воспаленными от угольной пыли глазами. Книжные страницы затуманились, подобно стеклам в старых поездах. Фразы окутало дымной пеленой. Дождливый вечер. Человек заходит в бар, расстегивает пальто. Его застилает облако пара. Свисток уносится по рельсам, лоснящимся дождевым глянцем.

Как паровоз, свистит и выдувает струи пара кофеварка. Пожилой бармен запускает ее, точно машинист, дергающий за ручку паровозного гудка. Таково первоначальное впечатление от очередности фраз второго абзаца, в котором сидящие за столами игроки прижимают к груди карточные веера и оборачиваются в сторону вошедшего тройным поворотом шеи, плеч и стульев, а посетители за стойкой дуют на кофейную гладь в приподнятых чашечках, полусомкнув губы и прищурив глаза, или отхлебывают пиво из доверху наполненных кружек, преувеличенно осторожно стараясь его не пролить. Кошка выгибает спину, кассирша закрывает дзинькнувший кассовый аппарат. Перечисленные приметы единодушно свидетельствуют о том, что действие происходит на захолустном вокзальчике, где всякий вновь прибывший мгновенно привлекает к себе внимание.

Все вокзалы похожи друг на друга. И не важно, что фонари светят не дальше своих клочковатых островков. Тебе и так здесь знаком каждый уголок, насквозь пропитанный запахом поезда, источающий особый вокзальный дух, даже когда последний поезд уже ушел. Вокзальные фонари и фразы, которые ты читаешь, скорее скрадывают, чем выделяют предметы, увязшие во мглистой поволоке темноты. Я сошел на этой станции впервые, а чудится, что провел тут целую жизнь – вечно торчал в этом сонном баре, переходил от запаха перрона к запаху мокрых опилок в сортире, перемешанных в едином запахе ожидания,

запахе телефонных будок, когда остается лишь выудить назад заглотанные было жетоны, потому что набранный номер не подает признаков жизни.

Человек, расхаживающий между баром и телефонной будкой, – это я. Вернее, этот человек зовется «я», больше ты о нем ничего не знаешь. Точно так же, как и этот вокзал называется просто «вокзалом». За его пределами нет ничего, кроме безответного телефонного гудка, разносящегося в темной комнате далекого города. Я вешаю трубку, дожидаюсь, когда по металлической горловине проскрежещет жетонный поток, возвращаюсь, толкаю застекленную дверь и направляюсь к холмику чашек, сохнущих в мохнатом паре.

Кофеварки в привокзальных буфетах всячески выказывают свое родство с локомотивом. Вчерашние и сегодняшние кофеварки – со вчерашними паровозами и сегодняшними электровозами. Все сную взад-вперед, места себе не нахожу. Я попал в ловушку, ту самую вневременную ловушку, что неизбежно расставляют нам вокзалы. Угольная пыль необъяснимо парит в воздухе вокзалов, хотя железные дороги давно электрифицированы. Роман, повествующий о поездах и вокзалах, не может обойти стороной этот дымный аромат. Ты уже прочел страницы две, и пора бы наконец выяснить, когда, собственно, я сошел на этой станции с опоздавшего поезда: давным-давно или в наше время. Но обтекаемые фразы продолжают неуловимое движение по ничейной территории, где внешние приметы сведены к минимальному общему знаменателю. Будь осторожен, здесь наверняка какой-то подвох. Ты и очухаться не успеешь, как тебя втянут в действие. Ловушка. Может, автор сам еще в нерешительности? Да и ты, читатель, до конца не понял, о чем тебе было бы приятнее читать – о приезде на старый вокзальчик, переносящий тебя назад, в утраченные время и место, или о слепящем свете и громогласных звуках, напоминающих, что ты живешь в наши дни, в угоду общепринятому мнению, будто жить в наши дни – сплошное удовольствие. Вполне возможно, что таким размытым и затуманенным этот бар (или, как его еще называют, «привокзальный буфет») увидели мои близорукие и воспаленные глаза. На самом деле не исключено, что он залит ярким светом. Трубчатые лампы цвета молнии, отражаясь в зеркалах, озаряют все проходы и закутки. Пространство, лишенное тени, захлестывает грохочущая музыка, исторгаемая из дрожащей

колонки «сокруши тишину». Мини-бильярды и прочие игровые автоматы, вроде лошадиных скачек или бегущей мишени, работают без передышки. Пестрые силуэты проплывают в прозрачной глубине телевизора и аквариума с тропическими рыбками, взбодренными вертикальными струйками пузырьков воздуха. В руке у меня не пухлый, потрепанный портфель, а твердый пластиковый чемодан квадратной формы. На колесиках и со складной хромированной ручкой.

Ты полагал, читатель, что там, на перроне, мой взгляд уперся в ажурные, как алебарды, стрелки круглого циферблата, напрасно силясь повернуть их назад и пройти вспять по кладбищу истекших часов, бездыханно распластавшихся в своем сферическом пантеоне. С чего ты взял, что цифры, обозначающие часы и минуты, не возникают, скажем, из прямоугольных окошек и я не вижу, как каждая минута срывается на меня, точно нож гильотины? Впрочем, невелика разница: двигаясь в гладком, текучем мире, моя рука, сжимающая послушный штурвал чемодана на колесиках, все равно выражала бы внутреннее несогласие, как будто непритязательный с виду чемодан тяготеет надо мной неблагодарным, изнурительным грузом.

Похоже, что-то у меня не заладилось. Может, неправильно рассчитал время, или опоздал, или не успел пересесть на другой поезд. По приезде я должен был с кем-то встретиться. Вероятно, по поводу этого чемодана. Нет, он явно действует мне на нервы. Никак не пойму, то ли я боюсь его потерять, то ли не чаю от него избавиться. Ясно одно: это не тот чемодан, который можно сдать в камеру хранения или забыть в зале ожидания. Бесполезно смотреть на часы: если кто меня и ждал, его давно уже нет. Бесполезно кипятиться: как ни старайся обратить вспять бег времени и дней в надежде вернуться к моменту, предшествующему другому моменту, когда случилось то, что не должно было случиться, – ничего не выйдет. Если на вокзале у меня была назначена встреча с человеком, который, очевидно, не имеет к нему никакого отношения, а только должен пересесть с поезда на поезд, так же, как и я, и один из нас должен что-то передать другому, к примеру, я должен вручить ему чемодан на колесиках, оставшийся вместо этого у меня и обжигающий теперь руку, то единственное, что можно сделать, это попытаться восстановить утерянную связь.

Раза два я пересекал бар и выглядывал за дверь на невидимую площадь. Всякий раз стена темноты отбрасывала меня назад, в этот сияющий лимб, зависший между сумрачным пучком рельсов и потемками туманного города. Может, надо куда-то пойти? Куда? У подступившего к вокзальчику города нет даже названия. Мы не знаем, останется ли он за гранью романа или целиком вберет его в свою чернильную черноту. Я знаю лишь, что первая глава не спешит расстаться с вокзалом и баром. Было бы опрометчиво удаляться от места, где меня еще могут искать, да и мозолить глаза этим громоздким чемоданом тоже ни к чему. Снова набиваю жетонами телефонную утробу, и снова она выплевывает их обратно. Жетонов много, вероятно, я звоню в другой город. Кто знает, где сейчас те, от кого я должен получить инструкции или, проще говоря, приказы. Ясно, что я от кого-то завишу. Я никак не похож на частного предпринимателя или человека, который едет по своим делам. Скорее я смахиваю на рядового исполнителя, ничтожную пешку в сложнейшей партии, маленькую шестеренку в огромном механизме, настолько маленькую, что ей не пристало даже высовываться. И впрямь было условлено, что я не оставлю после себя ни единого следа. Однако каждую минуту моего пребывания здесь я оставляю следы. Я оставляю следы, когда ни с кем не говорю, а значит, произвожу впечатление замкнутого, скрытного человека. Я оставляю следы, когда с кем-то говорю, поскольку всякое произнесенное мною слово западает в чью-либо память и впоследствии может легко всплыть. В кавычках или без. Видно, поэтому автор и нагромождает бесконечные предположения, теснящиеся в длинных абзацах без диалогов и образующие непроницаемо-плотную, свинцовую толщу, в которой я могу проскользнуть незамеченным, раствориться.

Я нисколечко не бросаюсь в глаза. Мое безликое присутствие совершенно неприметно на еще более неприметном фоне. И если ты, читатель, все же сумел разглядеть меня среди пассажиров, сходивших с поезда, и следил за моими дальнейшими передвижениями между баром и телефонной будкой, то единственно потому, что меня зовут «я», и это все, что ты обо мне знаешь, но этого вполне достаточно, чтобы тебе захотелось вложить часть самого себя в это незнакомое «я». Так же и автор, он вовсе не собирался говорить о себе и решил назвать своего героя «я», чтобы не выставлять его напоказ, не описывать и не

давать ему имя, ибо любое наименование или определение обозначило бы его гораздо полнее, чем это оголенное местоимение. Тем не менее, написав «я», он испытывает желание вложить в это «я» частицу себя, того, что он чувствует или воображает, что чувствует. Нет ничего проще, чем слиться со мной. Пока я веду себя как пассажир, не успевший пересесть на другой поезд, а такое случается со всяким. Начало романа неизменно относит нас к чему-то, что уже произошло или скоро произойдет. Именно это что-то и таит в себе опасность слияния со мной. Как для тебя – читателя, так и для него – автора. И чем обыденнее, обобщеннее, заурядее и неопределеннее завязка романа, тем явственнее ты и автор чувствуете зловещую тень, нависшую над тем «я», которое вы неосмотрительно вложили в «я» героя. Не подозревая, что за ним тянется, – вроде того чемодана, от которого он мечтает поскорее избавиться.

Главное – избавиться от чемодана. Тогда я смогу восстановить предшествующие обстоятельства. Предшествующие всему тому, что произошло впоследствии. Это-то я и имею в виду, когда говорю, что хотел бы повернуть назад течение времени, уничтожить последствия некоторых событий и восстановить первоначальные обстоятельства. Но с каждой минутой в моей жизни накапливаются все новые и новые обстоятельства; и каждое из этих новых обстоятельств влечет за собой новые последствия, и потому чем настойчивее я пытаюсь вернуться к отправной точке, тем дальше я от нее удаляюсь. Все мои действия направлены на то, чтобы уничтожить последствия предшествующих действий. Порой результаты подобного уничтожения весьма ощутимы. Они приносят мне облегчение и надежду. Но я должен помнить, что любая моя попытка уничтожить последствия предшествующих событий ведет к целому потоку новых событий, которые только осложняют мое положение. Теперь придется уничтожать и их в свою очередь. Вот почему я обязан тщательно рассчитать каждый свой шаг, чтобы уничтожить как можно больше нежелательных последствий и не дать им вылиться в последствия этого уничтожения.

На перроне меня должен был встретить незнакомый мне человек. Должен был. Если бы все не пошло вкривь и вкось. Человек с таким же, как у меня, чемоданом на колесиках. Пустым чемоданом. Оба чемодана сошлись бы в сутолоке пассажиров между поездами. Будто нечаянно, будто случайно – со стороны и не отличишь. Тот человек

произнес бы пароль, взглянув на газету, торчащую из твоего кармана. В заголовке сообщалось бы о результатах последних бегов: «Ага, первым пришел Весельчак!» Тем временем мы бы уже сдвинули с места наши чемоданы, непринужденно маневрируя металлическими ручками. Попутно обменялись бы репликами по поводу лошадей, прогнозов и ставок и разошлись бы по своим поездам, покатив чемоданы в нужном направлении. Никто бы ничего не заметил. У меня был бы другой чемодан, а мой увез бы с собою он.

Безупречный план. Настолько безупречный, что рухнул из-за пустячного просчета. Я застрял здесь и не представляю, как быть дальше. Кроме меня, пассажиров на станции нет. До утра поездов больше не будет. В этот час провинциальный городок прячется в свою скорлупу. В привокзальном буфете засиделись только местные. Все эти люди прекрасно знают друг друга. Они никак не связаны с вокзалом, но все равно стекаются сюда через темную площадь. Наверное, другие заведения поблизости уже закрыты. Вокзалы провинциальных городов по-прежнему оказывают на нас притягательное воздействие. Мы постоянно ждем от них чего-то нового. А может, это просто воспоминание о времени, когда вокзалы были единственной точкой соприкосновения с внешним миром.

Что бы я ни говорил, а провинциальных городов больше нет. Вполне возможно, их никогда и не было. Все города сообщаются между собой мгновенно. Чувство обособленности возникает разве что во время переездов из одного города в другой, то есть тогда, когда нас нет ни в одном городе. Вот и я сейчас – ни тут ни там. Свои видят во мне чужака, хотя бы потому, что я вижу в них своих и завидую им. Да, завидую. Я наблюдаю извне за течением обычного вечера в обычном городке и сознаю, что отрезан от обычных вечеров… Бог знает на какое время. Я размышляю о сотнях городов вроде этого, о сотнях тысяч залитых светом ресторанчиков и кафе, где в этот час люди наблюдают, как сгущаются сумерки, и думать не думают, о чем раздумываю я. Вероятно, они думают о чем-то своем, чему, пожалуй, и не позавидуешь, но в эту минуту я с готовностью поменялся бы мыслями с любым из них. Например, с одним из этих парней, что обходят владельцев мелких заведений, собирая подписи под петицией в городскую управу о налогах на неоновые вывески. В данный момент они зачитывают ее бармену.

Здесь в романе приводятся отрывки из разговоров, похоже, с единственной целью представить картину повседневной жизни провинциального городка.

– А ты, Армида, уже поставила свою подпись? – спрашивают у женщины, которую я вижу только со спины: длинное пальто, отороченное мехом, свисающий хлястик, высокий воротник, струйка дыма поднимается от пальцев, обвиваясь вокруг ножки бокала.

– А кто вам сказал, что я буду вешать на моем магазине неоновую вывеску? – отзывается она. – Если отцы города решили сэкономить на фонарях, то я не собираюсь освещать улицы за свой счет! Кожгалантерею Армиды знают все. Мое дело маленькое: опущу ставню – а там хоть и не рассветай.

– Вот поэтому ты и должна подписать, – убеждают ее.

К ней обращаются на «ты». Тут все обращаются друг к другу на «ты» и часто переходят на местное наречие. Эти люди привыкли видеться каждый день много лет подряд. Все, о чем они говорят, – лишь продолжение старых разговоров. Иногда они отпускают шуточки, не на шутку колкие. «Да чего уж, скажи прямо: в темноте-то оно куда сподручнее гостей принимать! Кто там к тебе наведывается с черного хода, когда ты закрываешь лавочку?»

Реплики сливаются в гомон неразличимых голосов. Время от времени сквозь него прорываются слова или фразы, определяющие дальнейший ход событий. Для полноты чтения тебе следует подмечать и гомон, и скрытый смысл, который ты (да и я тоже) пока не в состоянии уловить. Читая, ты должен отрешиться и одновременно сосредоточиться. Точь-в-точь как я сейчас сижу с отсутствующим видом, облокотившись о стойку бара и подперев ладонью щеку, а сам напрягаю слух. Роман понемногу начинает выбираться из туманной неопределенности, намечая внешние черты персонажей. Он навевает такое чувство, будто лица, которые ты видишь впервые, вместе с тем до боли тебе знакомы. В этом городке встречаются одни и те же люди. На их лицах отпечаталась тяжесть привычности, передающаяся даже тем, кто, как и я, никогда здесь не бывал, но понимает, что именно эти лица и черты многократно сгущались и таяли в зеркалах бара, эти выражения из вечера в вечер раздувались и обмякали в них. Вот и эта женщина: когда-то она, верно, слыла первой красавицей в городе, да и поныне, на мой сторонний взгляд, не утратила былой

привлекательности, но, если взглянуть на нее глазами завсегдатаев бара, она мгновенно покроется налетом усталости – пусть это будет всего лишь тенью их усталости (или моей усталости, или твоей). Они помнят ее еще девочкой, знают про нее всю подноготную, не исключено, что у кого-то из них был с ней роман: что было, то было, дело прошлое. Возникает некая пелена других образов, заволакивающая ее образ, оттого ускользающий и размытый. Груз воспоминаний мешает увидеть ее так, как видишь незнакомого человека. Это чужие воспоминания, повисшие в воздухе, словно густой дым, клубящийся под лампами.

Излюбленным развлечением завсегдатаев бара, похоже, являются всякого рода пари. По малейшему поводу. К примеру, один говорит: «Спорим, кто сегодня придет первым: доктор Марнэ или комиссар Горэн?» А ему в ответ: «Спорим, что сделает сначала доктор Марнэ, чтобы избежать встречи со своей бывшей женой: встанет за мини-бильярд или начнет заполнять карточку спортлото?»

В такой жизни, как моя, особо далеко и не загадаешь. Я не могу сказать, что случится в следующие полчаса, как не могу представить жизнь, где четко обозначен выбор (на который еще и заключаются пари) или – или.

– Не могу, – роняю я тихо.

– Чего не могу? – спрашивает она.

Кажется, этой мыслью можно и поделиться, а не держать ее при себе, как все свои мысли, поделиться с женщиной, сидящей рядом со мной за стойкой бара, той самой женщиной, у которой кожгалантерейная лавка, ведь мне давно уже хочется завязать с ней разговор.

– У вас всегда так?

– Вовсе нет, – отвечает она.

Я знал, что она так ответит. Она утверждает, что здесь, как и везде, ничего невозможно предугадать. Да, в это время доктор Марнэ обычно закрывает амбулаторию, а комиссар Горэн заканчивает дежурство в полицейском участке. Оба они неизменно заглядывают в бар: сегодня первым приходит один, завтра другой. Ну и что из этого?

– Однако никто как будто не сомневается, что доктор будет избегать встречи с бывшей госпожой Марнэ, – вставляю я.

– Бывшая госпожа Марнэ – это я, – замечает она. – И не слушайте, что вам тут наболтают.

Твое читательское внимание полностью обращено к этой женщине. Уже несколько страниц ты ходишь вокруг нее. Я, нет, автор ходит вокруг этого женского персонажа. Уже несколько страниц ты ждешь, что этот женский призрак воплотится в том виде, в каком женские призраки воплощаются на печатной странице. Именно твое читательское ожидание подталкивает к ней автора. Даже я, хоть моя голова и занята совсем другими мыслями, даже я не выдерживаю и вступаю с ней в разговор, который следовало бы поскорее прервать, а самому уйти, исчезнуть. Тебе, конечно, не терпится узнать, какая она, но печатная страница содержит лишь скупые штрихи, ее лицо по-прежнему застилает завеса дыма и волос, и нужно еще понять, что же скрывается за горькой усмешкой на ее губах, помимо горькой усмешки.

– А что тут болтают? – осведомляюсь я. – Я ничего такого не знаю. Мне только известно, что у вас магазин и на нем нет неоновой вывески. Я даже понятия не имею, где он находится.

Она объясняет. У нее магазин кожаных изделий, чемоданов и дорожных принадлежностей. Расположен он не на вокзальной площади, а на боковой улочке рядом с переездом у товарной станции.

– А почему вас это интересует?

– Окажись я здесь чуть раньше, обязательно прошелся бы по той темной улочке, увидел бы освещенные витрины магазина, зашел бы и сказал: «Если не возражаете, я помогу вам опустить жалюзи».

Жалюзи она уже опустила, но еще вернется в магазин составить инвентарную опись и задержится там допоздна.

Посетители обмениваются остротами и хлопают друг друга по плечу. Пари заключено: доктор на пороге бара.

– Надо же, комиссар сегодня что-то запаздывает.

Войдя, доктор приветствует всех взмахом руки: его взгляд не останавливается на жене, но наверняка отмечает, что она беседует с каким-то мужчиной. Доктор проходит в глубь заведения, повернувшись спиной к стойке бара, и опускает монетку в электрический бильярд. Ну вот, мало того, что я не сумел проскользнуть незамеченным, так меня еще и засекли, сфотографировали; от этих глаз мне точно не уйти, они раз и навсегда

запомнят все, что относится к предмету ревности и боли их хозяина. При виде его тяжелых водянистых глаз становится ясно, что разразившаяся семейная буря еще не улеглась. Он заходит сюда каждый вечер, чтобы увидеть ее, разбередить старую рану, а заодно и узнать, кто провожает ее сегодня до дома. Она заходит сюда каждый вечер, чтобы помучить его, а может, надеясь, что мучение станет для него такой же привычкой, как и всякая другая, приобретет тот неразличимый привкус, что уже давно смешался у нее с привкусом жизни.

– Больше всего на свете мне хочется, – говорю я, ибо теперь, как ни крути, приходится продолжать разговор, – повернуть назад стрелки часов.

Женщина дает какой угодно ответ, например:

– Ну так в чем дело, возьмите и поверните.

– Да нет, я имел в виду, что мысленно, усилием воли хочу заставить время обратиться вспять, – уточняю я, хотя не совсем понятно, сказал я это на самом деле или только собирался сказать, или так истолковал мое бормотание автор. – Когда я приехал сюда, то сразу подумал: неужели я совершил такое мысленное усилие, что время вернулось назад, и я очутился на том самом вокзале, с которого впервые уехал; он остался в точности таким, как тогда. Отсюда начинаются все жизни, которые я мог бы прожить; здесь та девушка, которая могла бы стать моей девушкой, но не стала ею; у нее те же глаза, те же волосы.

Она игриво озирается по сторонам. Я киваю ей подбородком. Она приподнимает уголки рта, обозначая улыбку, а затем останавливается, видно, передумала (или она так улыбается?).

– Не знаю, комплимент ли это, будем считать, что комплимент. А дальше?

– А дальше я здесь. Я – сегодняшний. С этим вот чемоданом.

Я упоминаю о чемодане в первый раз, хотя не переставая думал о нем.

Она:

– Прямо-таки день квадратных чемоданов на колесиках.

Я сижу с непроницаемым видом.

– Как это?

– Сегодня я продала именно такой чемодан.

– Кому же?

– Какому-то приезжему вроде вас. Он спешил на поезд. С новеньким пустым чемоданом. Как две капли воды похожим на ваш.

– А что в этом особенного? Разве вы не продаете чемоданы?

– Такие у меня давным-давно стоят, и никто не берет. Не нравятся. Или не нужны. А может, у нас про такие еще и не знают. Странно, должно быть, они удобные.

– Ну не скажите. Я как вспомню, что вынужден повсюду таскать за собой этот сундук, так весь вечер насмарку. Ни о чем другом и не думаю. Жаль, мог бы получиться прекрасный вечер.

– А почему бы вам его где-нибудь не оставить?

– Например, в магазинчике чемоданов.

– Хотя бы. Одним чемоданом больше, одним меньше.

Она встает с табурета, поправляет перед зеркалом воротник и пояс.

– Если я попозже заверну на вашу улочку и постучу в жалюзи, меня услышат?

– Попробуйте.

Женщина ни с кем не прощается. Она уже вышла на площадь.

Доктор Марнэ отходит от мини-бильярда и направляется к стойке бара. Он хочет заглянуть мне в лицо, угадать реакцию присутствующих, уловить намек или усмешку. Но сидящие за столиками заняты своим делом: они заключили пари, пари на него; им и не важно, слышит он их или нет. Вокруг доктора Марнэ царит доверительное, радостное оживление: кто-то хлопает соседа по плечу, кто-то острит, кто-то подхватывает безобидную старую хохму. Потеха потехой, а допустимых границ не переходит никто. И не потому, что доктор Марнэ – врач, заведует санитарной службой города или чем-то в этом роде, а потому, что он просто хороший человек, потому, что он бедолага, несущий по жизни свои невзгоды и остающийся при этом хорошим человеком.

– Комиссар Горэн побил сегодня все рекорды по опозданию, – замечает чей-то голос, так как в этот момент комиссар входит в бар.

Входит.

– Привет честной компании! – Подойдя ко мне, комиссар опускает взгляд на чемодан, переводит его на газету и проговаривает сквозь зубы: – Весельчак. – Затем идет к сигаретному автомату.

Меня отдали на откуп полиции? На нашу организацию работает полицейский? Я тоже подхожу к автомату. Как бы за сигаретами.

– Жана убрали. Тебе надо уходить, – говорит он.

– А чемодан? – спрашиваю я.

– Заберешь с собой. Сейчас не до него. Сядешь на одиннадцатичасовой курьерский.

– Он же здесь не останавливается.

– Остановится. Пойдешь на шестой путь. Там, где товарная платформа. У тебя три минуты.

– Но…

– Сматывайся, не то мне придется тебя арестовать.

Организация всесильна. Полиция и железная дорога у нее в руках. Я качу чемодан по переходам на шестой путь. Товарная платформа там, в конце, около переезда, за которым темнота и туман. Комиссар застыл на пороге бара и не спускает с меня глаз. Курьерский прибывает на всех парах. Он замедляет ход, останавливается, скрывает меня из поля зрения комиссара и снова отправляется.

Глава вторая

Ты прочел страниц тридцать и постепенно втягиваешься в сюжет. В какой-то момент ты отмечаешь про себя: «Однако эта фраза кажется мне знакомой. Да что фраза, по-моему, я уже читал весь абзац». Все ясно: это сквозная тема; текст сплошь соткан из повторов, призванных передать текучесть времени. Такой читатель, как ты, чутко улавливает подобные тонкости. Ты изначально готов воспринять авторский замысел, от тебя ничего не ускользнет. В то же время ты слегка раздосадован: именно сейчас, когда ты по-настоящему увлекся чтением, автор считает своим долгом щегольнуть новомодным литературным па – слово в слово повторить один из пассажей текста. Пассажей, говоришь? Так ведь тут целая страница, можешь сравнить – не переставлено ни запятой. А дальше что? Да ничего. Дальше следуют те самые страницы, которые ты уже прочел!

Погоди-погоди, проверь нумерацию страниц. Подумать только! Со страницы 32 ты перемахнул обратно на страницу 17! То, что ты принял за стилистическую изощренность автора, оказалось обычным типографским браком: они дважды сброшюровали одни и те же страницы. При брошюровании и произошла накладка: книга состоит из больших, шестнадцатиполосных листов: на каждом листе печатаются шестнадцать страниц, после чего лист складывают восемь раз; когда листы брошюруются, в один экземпляр могут попасть две одинаковые тетради: такие сбои иногда случаются. Ты возбужденно листаешь книгу, пытаясь отыскать страницу 33, лишь бы она была; повтор двух тетрадей не такой уж непоправимый изъян, непоправимым он становится тогда, когда нужной тетради вообще нет; возможно, она попала в другой экземпляр, где дважды сброшюрована как раз та тетрадь и не хватает этой. Как бы то ни было, ты хочешь возобновить чтение, все остальное тебя уже не интересует; ты дошел до того момента, когда не можешь пропустить ни страницы.

Так, страница 31, 32… Но что это? Снова 17-я страница, в третий раз! Что за туфту тебе подсунули? Вся книга сброшюрована из одних и тех же тетрадей – от начала до конца.

Ты швыряешь книгу на пол; твоя воля – ты выбросил бы ее из окна, даже из закрытого окна, сквозь лезвия опущенных жалюзи; пусть они изрубят на мелкие кусочки эти несуразные шестнадцатиполосники; пусть фразы, слова, морфемы и фонемы разлетятся вокруг так, что их уже не собрать в связную речь; ты запустил бы книгу сквозь стекло, даже если оно небьющееся, тем лучше – ты размазал бы ее по стеклу, обратил бы в фотоны, волновые колебания, поляризованные спектры; ты метнул бы ее сквозь стену – пусть книга раскрошится на молекулы и атомы, проникая между атомами железобетона, дробясь на электроны, нейтроны, нейтрины, еще более мелкие элементарные частицы; загнал бы ее в телефонные провода, превратив в электронные сигналы, в поток информации, сотрясаемой жужжащей, тренькающей дрожью и пропадающей в головокружительной энтропии. Тебя так и подмывает размахнуться и швырнуть книгу куда подальше: за пределы дома, двора, квартала, района, города, провинции, области, страны, общего рынка, западной цивилизации, континента, атмосферы, биосферы, стратосферы, гравитационного поля, Солнечной системы, галактики, скопления галактик; закинуть ее дальше той точки, до которой распространились галактики, туда, докуда не дошло еще пространство-время, где она ухнула бы в небытие, дальше небытия, не бывшего ни прежде, ни потом, – и утратилась бы в абсолютной, наивернейшей и неопровержимой отрицательности. Как она того и заслуживает, ни больше ни меньше.

Ан нет: ты подбираешь книгу, смахиваешь с нее пыль. Ты должен отнести ее книгопродавцу и обменять. Мы знаем, что по натуре ты человек вспыльчивый, но научился сдерживать свои порывы. Больше всего тебя раздражает, когда ты оказываешься во власти случая, жребия, лотереи; когда человеческие дела и поступки отдаются на откуп иронии судьбы, небрежности, приблизительности, неточности – твоей или чужой. В такие минуты ты горишь желанием зачеркнуть пагубные последствия необоснованных или рассеянных действий, восстановить нормальный ход событий. Тебе не терпится получить добротный экземпляр книги, в которую ты успел углубиться. Ты помчался бы в книжный магазин хоть сейчас, если бы сейчас магазины не были закрыты. Придется подождать до завтра.

Ты проводишь беспокойную ночь. Мутный, прерывистый поток сна напоминает чтение романа. Все сны как будто повторяют все тот же

сон. Ты борешься со снами, как борются с бессмысленной, бесформенной жизнью, стараясь найти указатель правильного пути, ведь он обязательно где-то есть. Так, начиная читать книгу, мы еще не знаем, в каком направлении она нас поведет. Вот если бы перед тобой вдруг открылись абсолютно абстрактные пространство и время, в которых ты мог бы двигаться по выверенной, настильной траектории, но стоит только поверить в это, как выясняется, что ты оторопело застыл на месте и надо все начинать заново.

Назавтра, выкроив свободную минуту, ты устремляешься в книжный магазин. Войдя, протягиваешь уже раскрытую книгу, уткнув палец в страницу, словно одного этого жеста достаточно, чтобы продемонстрировать свистопляску страниц:

– Слушайте, что вы мне всучили… Вы только посмотрите… На самом интересном месте…

Без тени смущения книгопродавец парирует:

– И с вами та же история? Мне уже возвратили несколько экземпляров. Как раз сегодня утром мы получили уведомление из издательства. Вот полюбуйтесь: «При распространении последних новинок нашего издательства выявлено наличие бракованных экземпляров в тираже романа Итало Кальвино “Если однажды зимней ночью путник”. Данную партию тиража надлежит изъять из обращения. Брак допущен в процессе брошюровочно-переплетных работ, вследствие чего печатные листы указанного издания перемешались с печатными листами другой нашей новинки – романа польского писателя Тазио Базакбала “Неподалеку от хутора Мальборк”. Издательство приносит искренние извинения за досадную оплошность и примет необходимые меры по скорейшей замене бракованных экземпляров». Ну и так далее. Сами посудите, в каком положении оказывается несчастный книгопродавец. И все по вине этих субчиков. Мы уже целый день на ушах стоим. Просмотрели всех Кальвино поштучно. Несколько книжек, слава богу, в порядке. Так что можем обменять вам бракованного старого «Путника» на исправного нового.

Стоп-стоп. Соберись с мыслями. Постарайся упорядочить это обилие информации, свалившейся на тебя как снег на голову. Роман польского писателя. Стало быть, книга, которую ты читал с таким рвением, совсем не то, что ты думал, а какой-то польский роман.

Значит, его тебе и нужно заполучить. Не дай сбить себя с толку. Объясни все по порядку.

– Нет. Видите ли, мне до вашего Итало Кальвино нет теперь ни малейшего дела. Я начал польский роман и намерен его дочитать. Есть у вас этот Базакбал?

– Как вам будет угодно. Только что к нам зашла покупательница. Тот же случай, что и у вас. И она решила взять поляка. На этом стеллаже целая стопка Базакбала. Да вот, вот, прямо перед вами. Выбирайте.

– Надеюсь, этот без изъяна?

– Знаете, руку на отсечение я, пожалуй, не дам. Когда солидные издательства откалывают подобные номера, ручаться уже ни за что нельзя. Я говорил тут девушке, скажу и вам. Если опять что-то будет не так, я готов вернуть деньги. Это все, что я могу для вас сделать.

Девушка, он упомянул о девушке. Той самой, что стоит сейчас у полок, заставленных книгами из серии «Классики современной литературы» издательства «Пингвин». Уверенно и аккуратно она проводит пальчиком по корешкам томов бледно-баклажанного цвета. Большие глаза, быстрый взгляд, приятный тон лица и кожи, пышные волнистые волосы.

Итак, в поле твоего зрения, Читатель, счастливым образом появляется Читательница. Даже не в поле зрения, а в поле внимания. Или нет: это ты попал в магнитное поле; от его притяжения тебе не уйти. Не теряй времени, у тебя прекрасный повод завязать знакомство – общие интересы. Для начала можешь козырнуть своей начитанностью. Чего ты медлишь? Вперед!

– Значит, и вы, ха-ха, предпочли поляка, – произносишь ты как можно более непринужденно. – Ну и книжонка: не успел начать – и на тебе, такая липа. Мне сказали, что вы… Вот и я остался с носом. Но, как говорится, взялся за гуж… Короче, я отказался от той и беру эту. Бывают же такие совпадения.

М-да, вообще-то мог бы и повразумительнее. Ну уж ладно, главное ты худо-бедно выразил. Теперь ее очередь.

Улыбается. У нее ямочки. Она нравится тебе все больше.

Она:

– Ой, да, и мне хотелось прочесть стоящую книгу. Поначалу как-то не шло. Потом втянулась, стало интересно… А когда все оборвалось, я так разозлилась! И автора словно подменили. Недаром я чувствовала,

что эта вещь совсем не похожа на его прежние вещи. Оказалось, это Базакбал. Занятный автор. Никогда раньше не читала.

– Я тоже, – можешь согласиться ты уверенно, уверяюще.

– Хотя, на мой вкус, повествование чересчур расплывчатое. Если поначалу я слегка теряюсь – это еще ничего. Но когда первое впечатление – сплошной туман, то, боюсь, после того как он рассеется, пропадет и всякое желание читать дальше.

Ты задумчиво качаешь головой:

– Пожалуй, верно. Такая опасность есть.

– Гораздо больше мне нравятся романы, – добавляет она, – которые сразу вводят тебя в мир, где все точно определено, обозначено, оговорено. Приятно сознавать, что все обстоит именно так, а не иначе; даже то, что на самом деле меня совершенно не волнует.

Ты согласен? Ну так выскажись.

– Еще бы, такие книги, конечно, стоят того.

Она:

– Не стану отрицать: этот роман по-своему привлекателен.

Ну же, ну, не дай разговору зачахнуть. Говори что попало, только не молчи.

– А вы… много читаете? В основном романы? Я тоже. Иногда. Правда, меня больше занимает публицистика…

И это все, на что ты способен? А дальше-то? Заглох? Ну, тогда прости-прощай. Неужели трудно спросить хотя бы: «А это вы читали? А вот это? А что вам больше понравилось?» То-то. Теперь разговоров на полчаса хватит.

Вся беда в том, что она читала намного больше тебя. Особенно зарубежных авторов. Вдобавок у нее поразительно цепкая память. Она ссылается на вполне конкретные эпизоды. К примеру:

– Помните, что говорит тетушка Генри, когда…

А ты-то брякнул это название, потому что оно у всех на слуху. Но кроме названия и знать ничего не знаешь об этой книге. Тебе доставляло удовольствие внушать окружающим, будто ты ее читал. Теперь приходится лепетать нечто уклончивое, вроде:

– На мой взгляд, сюжет затянут.

Или:

– Очаровательная вещь, в ней столько иронии.

Она возражает:

– В самом деле, вы находите? Я бы не сказала…

И ты чувствуешь, что сел в лужу. Ты запальчиво берешься обсуждать известного автора, прочтя из него одну, от силы две вещи, а она не задумываясь перебирает полное собрание сочинений; похоже, она знает его назубок. Хуже, если у нее возникают какие-то сомнения и она спрашивает:

– Помните знаменитую сцену с порванной фотографией? Я вечно путаюсь, откуда она…

Ты ляпаешь что-то наобум: а ну как проскочит.

Она:

– Да что вы? Не может быть…

Теперь вы, кажется, запутались оба.

Уместнее перевести разговор на другую тему. Скажем, на твое вчерашнее чтение, тем более что у вас в руках книга, которая, по идее, должна сгладить недавнее разочарование.

– Будем надеяться, – говоришь ты, – что на сей раз экземпляр сброшюрован правильно и мы не прервемся на самом захватывающем месте, как обычно… – (Обычно? Как это понимать? Что ты несешь?) – Короче, будем надеяться, что с удовольствием дочитаем книгу до конца.

– О да, – отвечает она.

Слышал? Она сказала: «О да». Твой черед закинуть удочку.

– Надеюсь, мы еще увидимся, ведь вы тоже покупаете книги в этом магазине? Так что поделимся впечатлениями.

Она отвечает:

– Охотно.

Ясно, куда ты клонишь. Решил сплести тончайшую сеть.

– Самое смешное будет, если, открыв Базакбала, мы обнаружим, что читаем Кальвино, как, читая Кальвино, обнаружили, что читаем Базакбала.

– Нет уж, дудки! В таком случае мы подадим на издательство в суд!

– Послушайте, а почему бы нам не обменяться телефонами? – (Вот к чему ты вел, о Читатель, обвиваясь вокруг нее словно гремучая змея!) – Если один из нас наткнется в своем экземпляре на брак, он обратится за помощью к другому… Вместе у нас больше шансов составить цельную книгу.

Дело сделано. Что может быть естественнее полного согласия, достигнутого между Читателем и Читательницей посредством книги?

Ты можешь выйти из магазина в хорошем настроении. А ведь недавно думал, что время, когда от жизни еще чего-то ждешь, кончилось. Ты несешь с собой два разных предвкушения, и оба вселяют в тебя радостную надежду; одно связано с книгой: так и хочется поскорее возобновить чтение; другое – с номером телефона: вот бы снова услышать то резкое, то мягкое звучание этого голоса, когда она ответит на твой первый звонок, совсем скоро, уже завтра; не вполне убедительно сославшись на книгу, ты спросишь, нравится ей или нет, сообщишь, сколько страниц прочел или не прочел, предложишь встретиться…

Кто ты, Читатель, сколько тебе лет, женат ли ты, чем занимаешься, обеспечен ли – расспрашивать тебя обо всем этом было бы бестактно. Это твое личное дело, сам и разбирайся. Куда важнее сейчас то душевное состояние, в котором, уединившись в своей комнате, ты пытаешься восстановить идеальное спокойствие, чтобы вновь погрузиться в книгу. Ты вытягиваешь ноги, подбираешь их и опять вытягиваешь. Нет, со вчерашнего дня положительно что-то изменилось. Ты больше не одинок в твоем чтении, ты думаешь о Читательнице, открывающей книгу в эту же минуту; и вот уже на роман литературный накладывается жизненный роман, возможное продолжение твоих отношений с ней, точнее, начало возможных отношений. Смотри, как ты переменился: еще вчера ты убежденно предпочитал книгу – вещь основательную, осязаемую, четко определенную и безопасную – житейскому опыту, вечно ускользающему, бессвязному, противоречивому. Значит ли это, что книга стала одновременно инструментом, средством связи и местом встречи? Впрочем, от этого чтение захватывает тебя не меньше; сила его воздействия скорее возрастает.

В этой книге неразрезанные страницы – первая подножка твоему нетерпению. Достав испытанный разрезной нож, ты готов проникнуть в ее тайны. Уверенным взмахом ты взрезаешь хрустящую перемычку между титульным листом и началом первой главы. И вот…

И вот с самой первой страницы ты обнаруживаешь, что этот роман не имеет ничего общего с тем романом, который ты читал вчера.

Неподалеку от хутора Мальборк

Пряный запах жаркого витает над раскрытой страницей; вернее, запах поджарки, чуть пригоревшей луковой поджарки; лук расходится кругами влажно-сизых прожилок; поначалу они отливают лиловым, затем окрашиваются коричневым; закраины тонко нарезанных ломтиков набухают густой чернотой, так и не успев подрумяниться, – это обугливается луковый сок, приобретая всевозможные обонятельные и цветовые оттенки, пропитанные ароматом закипающего масла. Рапсового масла, уточняется в тексте, где все выверено до мельчайших подробностей и ощущений, ими вызываемых; все кушанья одновременно стряпаются на очаге огромной поварни, каждое в особой, прилежно поименованной посудине – на сковородках и в сотейниках, в чугунках и котелках, – и надлежащим, расписанным по порядку способом: обвалять в муке, взбить яйцо, нашинковать огурец, заложить клинышки сала в утробу пулярки, приготовленной на жаркое. Все здесь представлено явственно, плотно, телесно, со знанием дела, во всяком случае, так тебе кажется, Читатель, хотя об иных яствах ты и слыхом не слыхивал: у каждого блюда свое диковинное название, настолько диковинное, что переводчик предпочел оставить их на исходном языке; например, *скобленица:* прочтя слово *скобленица,* ты готов ручаться, что *скобленица* существует на самом деле, ты даже отчетливо чувствуешь ее привкус, несмотря на то что в тексте не сказано, каков он, – привкус с кислинкой, то ли потому, что самое слово передает этот вкусовой посул в звуковой оболочке или узорчатом написании, то ли потому, что в симфонии запахов, привкусов и слов явно недостает кисловатой ноты.

Укладывая прокрученную мясную начинку в тесто, замешенное на желтке, крепкие красные руки Бригд, усеянные золотистыми веснушками, опушаются белой крапчатой пылью из муки и налипших кусочков сырого мяса. При каждом наклонном движении туловища Бригд над мраморным разделочным столом у нее слегка приподнимаются сзади юбки, заголяя ложбинку между икрой и бедром, где пробегает тонкая полоска голубой вены. Исподволь

действующие лица обретают форму, по мере того как множатся обстоятельно описанные детали, отдельные жесты, а заодно и реплики, обрывки разговоров, когда, скажем, старик Гундер замечает: «От этого чай уже не поскачешь, как от прошлогоднего!» Через несколько строк до тебя доходит, что речь идет о красном перце. «Да ты сам, что ни год, скачешь хуже некуда!» – отвечает ему тетушка Угурд, зачерпывая деревянной ложкой из кипящего варева и добавляя в чугунок щепотку корицы.

Ты непрерывно открываешь для себя новых персонажей; почем знать, сколько их в нашей неоглядной поварне, пересчитывать бессмысленно: здесь, в Кудгиве, нас всегда было хоть отбавляй; одни уезжали, другие приезжали, со счета собьешься; к тому же одного человека могут называть по-разному: то по имени, то по отчеству, то по фамилии, то по прозвищу, а то и просто окликнут: «Янкова вдовица» или «Кукурузный Початок» – когда как. Важнее внешние штрихи, намеченные в романе: обкусанные ногти Бронко, пушок на щеках Бригд, их телодвижения, предметы обихода, скарб, кухонная утварь (деревянная колотушка для отбивки мяса, дуршлаг для кресс-салата, маслобойка); жест или утварь дают первое представление о героях; мало того, о них хочется узнать поподробнее, словно маслобойка сама по себе определяет характер и судьбу того, кто предстает перед нами в первой главе с маслобойкой в руках; словно всякий раз, когда по ходу повествования возникает данный герой, ты, Читатель, готов воскликнуть: «А, да это тот самый, с маслобойкой!» – обязывая автора приписывать ему свойства и поступки, созвучные упомянутой вначале маслобойке.

Наша кудгивская поварня, казалось, нарочно была устроена так, чтобы в любое время на ней могли свободно поместиться сразу несколько человек, занятых всевозможной стряпней: кто лущил горох, кто фаршировал здоровенных карпов линьками и плотвой; каждый кухарил, жарил, парил, приправлял, пробовал, перекусывал, перехватывал; одни уходили, их сменяли другие, и так с утра до поздней ночи: когда тем утром я сошел в поварню, жизнь там кипела уже вовсю; и то сказать, день-то был особый: накануне приехал пан Каудерер с сыном, а наутро должен был уехать, забрав вместо него меня. Я впервые покидал отчий дом: все лето мне предстояло провести в усадьбе пана Каудерера, в округе Пёткво, пока не уберут рожь; там я

буду обучаться работе на новой бельгийской сушилке, а Понко, самый юный отпрыск Каудереров, проведет это время у нас, чтобы навостриться в подвое рябины.

Привычные звуки и запахи дома окружали меня в то утро, словно в прощальном хороводе; я оставлял все накопленное до сих пор, оставлял надолго – так мне казалось, – когда я вернусь, все будет по-другому, не как прежде, и сам я буду уже не тем, прежним мною. Поэтому в моем представлении я навсегда расставался с поварней, домом, клецками тетушки Угурд; поэтому к ощущению предметности, которое ты уловил с первых строк, прибавляется ощущение потери, умопомрачительного распада; однако от такого проницательного Читателя, как ты, не ускользнула и эта тонкость; еще на первых страницах, наслаждаясь выверенностью авторского слога, ты смекнул, что, по правде говоря, сюжет как бы просачивается у тебя сквозь пальцы; наверное, все дело в переводе, убеждал ты себя, хоть и точном, но все же не воспроизводящем предельной телесности оригинала, каким бы ни был оригинал. Каждая фраза хочет донести до тебя прочность моей привязанности к дому в Кудгиве и одновременно горечь расставания с ним; а кроме того – может, ты того еще не подметил, но, приглядевшись, обязательно увидишь, – неукротимое желание оторваться от него, устремиться к чему-то неведомому, перевернуть страницу, унестись подальше от манящего кисловатого запаха скобленицы, к новой главе и новым встречам во время бесконечных закатов на Аагде, воскресных вечеров в Пёткво, праздничных гуляний во Дворце Сидра.

Фотография черноволосой девушки с короткой стрижкой и вытянутым лицом показалась на миг из дорожного сундука Понко и тут же нырнула обратно под дождевик. Мансарда над голубятней: до сих пор она была моей – отныне будет его. Понко доставал вещи и раскладывал их по ящикам гардероба, который я недавно освободил. Я молча смотрел на него, сидя на уже собранном сундуке и машинально загоняя внутрь согнувшуюся головку гвоздя. Мы не перемолвились ни словом, только поздоровались сквозь зубы. Я следил за каждым его движением, соображая, что же все-таки происходит: мое место занимает какой-то чужак; он становится мной; моя клетка со скворцами переходит к нему, мой стереоскоп, настоящий уланский шлем, висящий на стене – все, что я никак не мог взять с собой,

остается ему; все, что связывает меня с вещами, людьми и здешними местами, принадлежит теперь ему, точно так же как я становлюсь им и занимаю его место среди окружавших его вещей и людей.

Девушка…

– Это кто такая? – спросил я и опрометчиво протянул руку к фотографии в резной деревянной рамке. Она была не похожа на местных девчонок, как на подбор круглолицых, русоволосых и с косичками. Я подумал о Бригд; мне вдруг представилось, как Понко и Бригд танцуют на празднике Святого Фаддея, как Бригд штопает Понко варежки, как Понко дарит Бригд куницу, пойманную *моим* силком.

– Не трожь фотографию! – заорал Понко, вцепившись мне в руку железной хваткой. – Не лапай! Понял?!

«На память о Звиде Оцкарт» – успел я прочесть надпись на фотографии.

– Кто такая эта Звида Оцкарт? – только и вырвалось у меня: в лицо мне уже летел свирепый кулак, и сам я набросился на Понко, и мы катались по полу, выкручивая друг другу руки, лягаясь коленками и норовя посильнее заехать противнику по ребрам.

Здоровяк Понко наваливался на меня всем весом, больно молотил руками и ногами. Я пытался схватить его за волосы и сбросить, но рука только скользнула по жесткому, как собачья щетина, бобрику. Пока мы колошматили друг друга, мне почудилось, будто во время нашей потасовки произошло некое перевоплощение, и, когда мы поднимемся, он будет уже мною, а я – им; хотя вполне возможно, эта мысль пришла мне в голову лишь теперь, вернее, она пришла в голову тебе, Читатель, а не мне; ведь тогда, в пылу драки, я до последнего стоял за самого себя, за свое прошлое, лишь бы не уступить его сопернику; ради этого я готов был уничтожить мое прошлое, уничтожить Бригд, лишь бы она не попала в руки Понко; я и думать не думал, что могу влюбиться в Бригд, как не думаю и теперь; правда, однажды, сцепившись, мы катались с ней по куче торфа в закутке у печи, прямо как сейчас с Понко; сдается, что уже тогда я оспаривал ее у воображаемого Понко; я оспаривал у него и Бригд, и Звиду; уже тогда я пытался вырвать часть моего прошлого и не отдавать его недругу, новоявленному двойнику, встопорщившемуся собачьим бобриком; а может, уже тогда я пытался выхватить из прежнего,

неведомого самого себя тайну, призванную стать частью моего прошлого или будущего.

Эта страница должна донести до тебя стихию нашей яростной сшибки, глухих, чувствительных ударов, хлестких, безжалостных ответов, отчетливых движений собственного тела над телом чужака, точного распределения собственных сил при нападении и защите, соотнося эту стихию с отраженным изображением противника, посылаемым тебе словно из зеркала. Но если чувства, вызываемые чтением, окажутся лишь бледной копией реально прожитых чувств, то это еще и потому, что пока я надавливаю на грудь Понко собственной грудью или пока мне заламывают руку за спину, я испытываю вовсе не то чувство, которое позволило бы утвердиться в моем намерении овладеть Бригд, ощутить ее упругую девичью плоть, так не похожую на костистую крепость Понко; чтобы овладеть Звидой, ее воображаемо пылким и податливым телом, овладеть уже утраченной Бригд и еще не обретенной Звидой в ее бесплотном, застекленном отображении на фотографии. Напрасно я пытаюсь пробиться сквозь нагромождение противостоящих мне и вместе тождественных мужских конечностей и стиснуть в объятиях ускользающие в их неумолимом отличии женские призраки; тщетно силюсь поразить самого себя, то есть другого себя, что скоро займет мое место в этом доме, возможно, еще более моего себя, которого я хочу вырвать у того, другого; я лишь чувствую, как меня вытесняет его чужеродное начало, словно он уже занял мое место и все остальные места, а я уже стерт с лица земли.

Чуждым показался мне мир, когда я наконец отбросил противника и вскочил на ноги. Чуждым было все: моя комната, собранные в укладку вещи, вид из моего оконца. Я боялся, что уже никто и ничто не будет таким, как раньше. Мне захотелось найти Бригд, но я не знал, что ей сказать и как себя вести; не знал, что скажет она и как будет себя вести. Я искал Бригд, думая о Звиде: цель моих поисков была двуликая Бригд-Звида, такая же двуликая, как я сам; я уходил от Понко, безуспешно оттирая слюной пятно крови на вельветовой куртке – моей или его крови, из моей разбитой губы или расквашенного носа Понко.

И в этой своей двуликости я услышал и увидел сквозь проем двери, ведущей в парадную залу, пана Каудерера. Вытянув вперед руку, он говорил:

– И тут я увидел их обоих, Кауни и Питте. Одному было двадцать два, другому двадцать четыре. Грудь каждого из них была прошита крупной охотничьей дробью.

– Когда это случилось? – спросил мой дед. – Мы ничего об этом не знали.

– Перед самым отъездом справили девятый день.

– Мы-то думали, что между вами и Оцкартами все уже уладилось. Считали, что на старой вражде давным-давно поставлен крест.

Голые, без ресниц, глаза пана Каудерера неподвижно уставились в пустоту. Ни один мускул не дрогнул на его гуттаперчево-желтом лице.

– Мир между Оцкартами и Каудерерами длится от одних похорон до других. А крест мы ставим на могилах наших сородичей. С надписью: «Дело рук Оцкартов».

– А вы что же? – как всегда, не выдержал Бронко.

– Оцкарты тоже пишут на своих могилах: «Дело рук Каудереров», – сказал пан Каудерер и прибавил, разглаживая пальцем усы: – Здесь Понко будет наконец в безопасности.

Тут моя мать сложила ладони и воскликнула:

– Пресвятая Дева, неужто нашего Гритцви подстерегает опасность? А ну как они выместят на нем свою злобу?

Пан Каудерер покачал головой, не взглянув на нее:

– Он ведь не Каудерер! Это нам вечно грозит опасность!

Распахнулась дверь. В остекленевшем морозном воздухе поднималось облако пара от горячей конской мочи. На пороге возник краснощекий конюх и объявил:

– Запрягли!

– Гритцви! Где ты там? Пора! – крикнул дед. Я шагнул навстречу пану Каудереру, который уже застегивал шинель.

Глава третья

Использование разрезного ножа предполагает сразу несколько услад: осязательных, слуховых, зрительных и, главное, умственных. Продвижению чтения предшествует жест, разобщающий материальную плоть книги и дающий возможность проникнуть в ее бесплотную субстанцию. Вспоров страницы снизу, лезвие порывисто лезет вверх, ширя разрез в беглой последовательности секущих ударов, разнимающих одно за другим скошенные бумажные волокна; с дружеским, радостным поскрипыванием благодушная бумага встречает первого посетителя, предвещающего бесконечное листание страниц, переворачиваемых то ветром, то взглядом; куда большее сопротивление оказывает горизонтальный сгиб, особенно двойной, поскольку требует неподручного усилия в противоположном направлении, – теперь бумага уступает с приглушенно-сдобным треском на октаву ниже. Кромка страниц размыкается, обнажая свою волокнистую ткань – тонкую бахрому, именуемую «ежиком», – и плавно распадается, словно пенистая волна, рассеченная волнорезом. Брешь, проделанная взмахом шпаги в бумажном заслоне страниц, наводит на мысль о замкнутости и потаенности слова: ты продираешься сквозь текст, как сквозь дремучий лес.

В романе, который ты читаешь, представлен густой, насыщенный мир, нарочито развернутый во всех подробностях. Погрузившись в роман, ты машинально водишь разрезным ножом в толще тома: в чтении ты продвинулся только до конца первой главы, зато в потрошении страниц – гораздо дальше. И вот, когда твое внимание напряжено до предела, ты переворачиваешь страницу на середине решающей фразы и обнаруживаешь перед собой две пустые страницы.

Ты ошеломлен при виде этой нестерпимой белизны, слепящей, точно разверстая рана. Ты еще тешишь себя надеждой, что на миг поразившая тебя слепота заволокла молочной пеленой и книжный разворот, на котором вот-вот проявится прямоугольная рамка, исполосованная типографским шрифтом. Но нет, обращенные друг к другу листы и впрямь сияют нетронутой белизной. Ты снова перекидываешь страницу: теперь разворот усеян привычными зернами

шрифта. Ты продолжаешь листать книгу: чета пустых страниц соседствует с четой печатных. Листы были оттиснуты лишь с одной стороны, а затем благополучно сложены вдвое и сброшюрованы.

Итак, роман, столь плотно сотканный из вереницы ощущений, внезапно распался на бездонные пропасти, как будто самонадеянная попытка передать всю полноту жизни вскрыла таящуюся под ней пустоту. Ты пробуешь перескочить через зияющий изъян и возобновить чтение, ухватившись за ближайший обрывок сюжета, изодранный, как бахрома разрезанных страниц. Напрасный труд: сменились и герои, и место действия; о чем тут речь – не разобрать; чьи это имена – неизвестно: Гела, Казимир… Ты уже подумываешь, а не другая ли это книга? Может, это и есть подлинный текст польского романа «Неподалеку от хутора Мальборк», а то, что ты прочел вначале, вообще относится к какой-то другой книге, неизвестно какой?

Тебе и раньше казалось, что имена героев звучат не совсем на польский манер: Бригд, Гритцви. У тебя есть большой атлас мира, очень подробный; в указателе географических названий ты ищешь Пётково, по-видимому крупный областной центр, и Аагд, скорее всего реку или озеро. Они затерялись где-то на далекой северной равнине, поочередно переходившей от одного государства к другому в результате последних войн и мирных договоров. Может, в том числе и к Польше? Ты раскрываешь энциклопедию, справочник по истории; увы, Польша тут ни при чем: между Первой и Второй мировыми войнами на этой территории существовало независимое государство Киммерия со столицей Эркко; государственный язык – киммерийский, ботно-угорской группы. Статья в энциклопедии, озаглавленная «Киммерия», заканчивается малоутешительным выводом: «В ходе последующих территориальных разделов между его более могущественными соседями молодое государство вскоре исчезло с политической карты мира. Коренное население рассеялось: киммерийские язык и культура не получили дальнейшего развития».

Поскорее бы переговорить с Читательницей, узнать, достался ли и ей такой же экземпляр, поделиться соображениями и рассказать все, что ты выяснил… Ты находишь в записной книжке номер телефона, нацарапанный против ее имени во время вашей первой встречи.

– Алло, Людмила? Представьте, это совсем не тот роман, хотя и здесь, по крайней мере в моем экземпляре…

Голос на другом конце провода сдержан и слегка насмешлив:

– Видите ли, это не Людмила. Это ее сестра, Лотария. – (Ну конечно, ведь она предупреждала: «Если меня нет, ответит моя сестра».) – Людмилы нет. А что вы хотели?

– Да так, насчет одной книги… Пустяки, я перезвоню…

– Роман, говорите? Людмила вечно носится с каким-нибудь романом. И кто автор?

– Какой-то Базакбал. Роман, судя по всему, польский. Она тоже его читает. Вот я и хотел обменяться впечатлениями.

– Ну и как он?

– Да вроде неплохой…

Ты так и не понял. Лотария хочет узнать, какое место занимает автор по отношению к Направлению Современной Мысли и Вопросам, Требующим Неотложных Решений. Дабы облегчить твою задачу, она перечисляет несколько имен Крупных Писателей, среди которых тебе предлагается его поместить.

У тебя снова такое чувство, как в тот момент, когда разрезной нож распахнул перед тобой чистые страницы.

– Трудно сказать. Понимаете, я еще толком не разобрался ни как называется книга, ни кто ее автор, Людмила вам все объяснит. Это довольно запутанная история.

– Людмила проглатывает книгу за книгой, но никогда не задумывается над их смыслом. По-моему, все это пустая трата времени. Вам не кажется?

С ней лучше не спорить, иначе она не отстанет. Так и есть: тебя уже зовут на какой-то университетский семинар, где книги разбирают по косточкам в соответствии со всеми мыслимыми Кодами Сознательного и Подсознательного; где отбрасываются любые Табу, предписанные Господствующим Полом, Классом или Культурой.

– И Людмила туда ходит?

Нет, по всей видимости, Людмила не участвует в делах сестры. А вот на твое участие Лотария очень даже рассчитывает.

Не стоит давать поспешных обещаний.

– Посмотрим, постараюсь, хотя точно сказать не могу. В любом случае передайте, пожалуйста, сестре, что я звонил… Впрочем, необязательно, я перезвоню. Большое спасибо.

Ну все, достаточно. Можешь повесить трубку.

Но Лотария удерживает тебя:

– Только имейте в виду, сюда звонить бесполезно: Людмила здесь не живет, это моя квартира. Людмила дает этот телефон случайным знакомым. Она считает, что я буду отваживать самых рьяных.

Экая досада, просто зло берет. Ты столько ждал от этой книги, и вдруг все обрывается. Ты надеялся, что этот номер телефона принесет тебе нечто новое, и вот на твоем пути встает какая-то Лотария в позе экзаменатора…

– А, понимаю. Ну извините.

– Алло? Это с вами мы познакомились в книжном магазине? – В трубке совсем другой голос, *ее* голос. – Да, это Людмила. И у вас чистые страницы? Этого следовало ожидать. Очередная ловушка. А главное – на самом интересном месте. Только я расчиталась. И герои совершенно необычные: Понко, Гритцви…

От радости ты теряешь дар речи:

– Звида…

– Что-что?

– Звида, Звида Оцкарт! Интересно, как-то там все сложится у Гритцви и Звиды Оцкарт… Вам такие книги тоже нравятся?

Молчание. Немного погодя голос Людмилы оживает и звучит медленно, пытаясь выразить мысль, не поддающуюся пока точному определению:

– Да, нравятся, даже очень… Хотелось бы только, чтобы все было не таким предметным и тяжеловесным; чтобы от сюжета веяло чем-то загадочным и неведомым…

– Вот-вот, и я так чувствую…

– При этом я не говорю, что в романе нет ничего загадочного…

– Еще бы. По-моему, загадка в том и состоит, что это киммерийский роман, ким-ме-рийский, а никакой не польский; и автор, и название романа должны быть другими. Не понимаете? Вот послушайте. Киммерия: население триста сорок тысяч человек, столица Эркко; основные природные богатства: торф и побочные продукты, а также битумные соединения. Нет-нет, в романе об этом ничего не сказано…

Теперь вы оба замолкаете. Вероятно, Людмила прикрыла трубку ладонью и советуется с сестрой. Той-то наверняка что-то известно о Киммерии, с нее станется. Кто ее знает, что она такое выдаст: будь начеку.

– Алло, Людмила…

– Я слушаю.

Твой голос делается вкрадчиво-мягким и настойчивым:

– Знаете, Людмила, я должен вас увидеть, нам нужно обсудить все эти совпадения и несовпадения. Если можно, прямо сейчас. Вы где живете? Где нам удобнее встретиться? Я мигом подъеду.

Она отвечает так же спокойно:

– Я знаю одного университетского преподавателя. Он как раз преподает киммерийскую литературу. Мы могли бы с ним посоветоваться. Сейчас я ему позвоню и спрошу, когда у него есть время.

И вот ты уже в университете. Людмила договорилась о встрече с профессором Уцци-Туцци на его кафедре. По телефону профессор сказал, что будет только рад помочь тем, кто интересуется киммерийской литературой.

Тебе хотелось бы увидеться с Людмилой раньше, может, заехать за ней домой и потом вместе отправиться в университет. Так ты и предложил, но Людмила отказалась: не стоит беспокоиться, в это время она все равно будет в тех краях по другим делам. Ты настаивал, ссылаясь на то, что совсем не знаешь университета и боишься заплутать в его лабиринтах, – не проще ли встретиться в каком-нибудь кафе минут на пятнадцать пораньше? Но и это ей не подошло: вы увидитесь прямо там, на кафедре ботно-угорских языков; спросите – вам любой покажет. Ты понял, что Людмила, при всей ее внешней мягкости, любит брать бразды правления в свои руки и все решать сама; тебе остается лишь следовать за ней.

Ты подъезжаешь к университету в назначенное время, пробираешься между студентами и студентками, рассевшимися на ступеньках парадной лестницы; слегка робея, бредешь вдоль строгих стен, испещренных мелким бисером неумеренных студенческих сентенций, изрисованных замысловатыми цветными каракулями – отголосками доисторических времен, когда пещерный человек испытывал необходимость оставить след на хладных стенах своего сурового жилища, чтобы усмирить их тревожную каменную отстраненность, приручить, опрокинуть в собственное внутреннее пространство, соединить с телесностью бытия. Читатель, я знаю тебя слишком мало

и не берусь утверждать наверное, идешь ли ты по университетским переходам с равнодушно-уверенным видом, или в глубине твоей чувствительной, чуткой души воспринимаешь мир учащихся и учителей – под воздействием былых потрясений или сознательно сделанного выбора – как некое кошмарное наваждение. Так или иначе, здесь никто понятия не имеет о такой кафедре; тебя гоняют вверх-вниз по этажам; ты то и дело открываешь не ту дверь, смущенно пятишься; кажется, будто ты заблудился в книге с чистыми страницами и не в силах выбраться из нее.

По коридорам вяло плетется парень в длинном свитере. Заметив пришельца, он указывает на тебя пальцем и говорит:

– Ты ждешь Людмилу!

– Откуда вы знаете?

– Догадался. Мне достаточно одного взгляда.

– Вас послала Людмила?

– Нет, просто я везде хожу, со всеми встречаюсь, там услышу, тут увижу – вот и готова картина.

– Так вы знаете, куда мне нужно?

– Если хочешь, я провожу тебя к Уцци-Туцци. Людмила уже там или скоро подойдет.

Бойкого всезнайку зовут Ирнерио. Ты можешь перейти с ним на «ты», коль скоро он уже это сделал.

– Ты занимаешься у профессора?

– Ни у кого я ничем не занимаюсь. Я знаю, где кафедра, потому что заходил туда за Людмилой.

– Значит, Людмила учится на этой кафедре?

– Не-ет. Она любит забиться в укромное местечко и прятаться там.

– От кого?

– Да ото всех.

Из расплывчатых ответов Ирнерио следует, что Людмила, похоже, избегает встреч с сестрой. Если она не пришла вовремя, то потому, что не хочет попасться на глаза Лотарии, у которой сегодня назначен семинар.

Допустим, сестры не ладят между собой, но в чем-то они все же находят общий язык. Например, что касается телефона. Неплохо бы выведать это у Ирнерио, а заодно убедиться, вправду ли он такой ушлый и все про всех знает.

– Так ты с кем дружбу водишь: с Людмилой или с Лотарией?

– С Людмилой конечно. Но я и с Лотарией на короткой ноге.

– А вы, часом, не обсуждаете книги, которые ты прочел?

– Я? Я книг вообще не читаю! – заявляет Ирнерио.

– Что же ты в таком случае читаешь?

– А ничего. Я настолько привык не читать, что не читаю даже то, что само попадается на глаза. Не так-то это просто: к чтению нас приучают с детства, и на всю жизнь мы становимся рабами разного печатного хлёбова, которым нас старательно пичкают. Поначалу мне было нелегко научиться не читать, зато теперь это получается совершенно непринужденно. Вся хитрость в том, что не надо заставлять себя не смотреть на слова, наоборот: на них нужно смотреть как можно напряженнее, пока они не исчезнут.

У Ирнерио большие, светлые, живые глаза; от его быстрого взгляда, верно, ничто не ускользнет: ни зверь, ни птица, ни малейшее твое движение.

– Тогда объясни, зачем ты приходишь в университет?

– А почему бы и нет? Тут всегда полно народу, есть с кем пообщаться, потолковать. Не знаю, как другие, лично я для этого сюда и хожу.

Ты пытаешься представить мир, обступивший нас со всех сторон плотными письменами, – так, как он представляется человеку, научившемуся не читать. В то же время ты спрашиваешь себя, какая может быть связь между Читательницей и Нечитателем. Неожиданно тебя осеняет: их объединяет именно то, что их разъединяет, – и ты не в силах подавить внезапное чувство ревности.

Ты не прочь порасспросить Ирнерио еще, но, поднявшись по боковой лесенке, вы уже подошли к низенькой дверце с табличкой «Кафедра ботно-угорского языка и литературы». Ирнерио громко стучит, говорит: «Пока» – и оставляет тебя одного.

Дверца с трудом приоткрывается. Судя по пятнам известки на косяке и кепочке, показавшейся над рабочей кацавейкой, внутри идет ремонт и сейчас там только маляр или чернорабочий.

– Могу ли я видеть профессора Уцци-Туцци?

Утвердительный взгляд, обращенный на тебя из-под кепки, явно не соответствует предполагаемому взгляду маляра: это взгляд человека, решившего перемахнуть через пропасть; мысленно он уже видит себя

на другом краю и отрешенно уставился перед собой, стараясь не смотреть вниз и по сторонам.

– Это вы? – спрашиваешь ты, хотя и так сообразил, что профессором не может быть никто иной. Человечек не увеличивает узкий просвет.

– Что вам угодно?

– Извините, я только хотел узнать… Вам звонили… Одна девушка… Людмила… Она здесь?

– Нет тут никаких Людмил… – роняет профессор, отступая назад и показывая на заполонившие комнату стеллажи (неразборчивые названия книг и фамилии авторов, выведенные на корешках и обложках), как на сплошную, без единой прогалины, ощетинившуюся изгородь. – А почему, собственно, вы ищете ее у меня? – И пока ты припоминаешь слова Ирнерио о том, что в этом укромном местечке Людмила прячется от посторонних глаз, Уцци-Туцци неопределенным жестом предъявляет свое незатейливое научное логовище, словно говоря: «Милости просим, убедитесь сами: ее здесь нет», – так, будто чувствует потребность снять с себя всякие подозрения в укрывательстве.

– Мы собирались прийти вместе, – уточняешь ты, чтобы внести окончательную ясность.

– Тогда почему вы не с ней? – выстреливает вопросом Уцци-Туцци. Вопрос, кстати, вполне логичный и окрашен подозрительными нотками.

– Она вот-вот придет… – замечаешь ты полувопросительно, точно ждешь от Уцци-Туцци подтверждения твоих слов. Тебе ровным счетом ничего не известно о привычках Людмилы, а он, похоже, знает о них гораздо больше. – Вы знакомы с Людмилой, не так ли?

– Знаком… А что, собственно… вас интересует? – нервничает профессор. – Киммерийская литература или… – Кажется, он хочет добавить: «…или Людмила?», но не заканчивает фразу. Честно говоря, ты и сам не знаешь, что тебя больше интересует: киммерийский роман или его Читательница. К тому же реакция профессора на имя Людмилы и откровения Ирнерио окутывают Читательницу дымкой таинственности, вызывают к ней боязливое любопытство, подобное тому, что ты испытываешь к Звиде Оцкарт из романа, продолжение которого ищешь, а заодно и к синьоре Марнэ из романа, который начал

накануне и отложил на время: ты бросился в погоню сразу за всеми призраками – воображаемыми и живыми.

– Я хотел… Мы хотели узнать, есть ли такой киммерийский писатель…

– Присаживайтесь, – обрывает тебя профессор, внезапно овладевая собой, хотя в действительности им самим овладевает глубокое и продолжительное волнение, сменяя и рассеивая волнения легкие и скоропреходящие.

Кафедра – всего-навсего тесная комнатушка, загроможденная книжными шкафами, протянувшимися вдоль стен. Прямо посреди комнаты замялся в нерешительности, так и не найдя опоры, еще один шкаф; он теснит и без того стесненное пространство; письменный стол профессора и стул, на который тебе предстоит опуститься, разделены своего рода кулисой: чтобы увидеть друг друга, вам приходится вытягивать шею.

– Нас сослали в эту каморку… Университет расширяется, а мы сужаемся… Среди живых языков киммерийский выступает в роли Золушки… Если, конечно, киммерийский вообще можно считать живым языком… Но в том-то и дело! – вскрикивает он запальчиво, тут же, впрочем, остывая. – В том-то и дело, что киммерийский – современный и вместе с тем мертвый язык… В этом его преимущество над другими языками… Только никто этого не понимает…

– У вас мало студентов? – спрашиваешь ты.

– Кто же сюда пойдет? Кто теперь помнит о киммерийцах? Среди редких и забытых языков есть куда более привлекательные… Баскский… Бретонский… Цыганский… Большинство студентов посещают эти кафедры… Но не для того, чтобы учить язык: об этом никто уже и не думает… Им лишь бы о чем-нибудь поспорить, не важно о чем; главное – побольше пищи для дискуссии. Мои коллеги как-то к этому приспосабливаются, плывут по течению, подыскивают разные модные темки для семинаров вроде «Социология валлийского» или «Психолингвистика старопровансальского»… Однако для киммерийского все это не подходит.

– Почему?

– Киммерийцы исчезли, как сквозь землю провалились. – Профессор качает головой, словно набираясь терпения, чтобы в сотый раз повторить одно и то же. – Так что вы пожаловали на мертвую

кафедру мертвой литературы на мертвом языке. Спрашивается: зачем тогда сегодня учить киммерийский? Я понимаю это лучше других и потому говорю: не хотите приходить – не приходите: по мне, кафедру можно вообще закрыть. Но приходить сюда для того, чтобы… Нет, это уж слишком.

– А для чего сюда приходят?

– Для чего угодно. Всякого насмотришься. Неделями здесь ни души, но если кто заглянет, то ради такого, что… Помилуйте, держитесь отсюда подальше, твержу я им; что вам до книг, написанных на мертвом языке? Какое там – нарочно договариваются: пошли, мол, на ботно-угорские языки, к Уцци-Туцци. Короче, берут меня в оборот, а я вынужден на все это смотреть и делать вид, будто участвую…

– В чем? – упорствуешь ты, представляя, как Людмила наведывалась сюда, как пряталась здесь, возможно, с Ирнерио или с другими…

– В чем угодно… Наверное, что-то их привлекает, какая-то неопределенность между жизнью и смертью. Скорее всего, они чувствуют это неосознанно. Они приходят за тем, за чем приходят. В семинар не записываются, на лекциях не появляются. Никто отродясь не интересовался литературой киммерийцев, погребенной в этих шкафах, как в братской могиле…

– А я как раз хотел узнать… Зашел спросить, есть ли такой киммерийский роман, который начинался бы… Хотя нет, лучше я назову имена главных героев: Гритцви и Звида, Понко и Бригд; сначала действие происходит в Кудгиве (может, это просто название фермы), затем, судя по всему, переносится в Пёткво, на Аагд…

– Тут и думать нечего! – восклицает профессор, мгновенно встряхиваясь от недавнего уныния и загораясь, словно лампочка. – Это, без сомнения, единственный дошедший до нас роман одного из самых одаренных киммерийских поэтов первой четверти века Укко Ахти. Называется роман – «Над крутым косогором склонившись»… Вот он! – И точно рыба, преодолевающая наперекор течению кипучую стремнину, Уцци-Туцци устремляется к вполне определенному шкафу, выхватывает оттуда щупленький томик в зеленом переплете, стряхивает с него пыль. – Роман никогда не переводился на другие языки. Еще бы: это настолько сложно, что у кого угодно руки опустятся. Вот послушайте: «Я утверждаюсь в убеждении…» Нет, скорее так: «Я постепенно утверждаюсь в непреложности моего

обращения…» Заметьте, оба глагола стоят в несовершенном виде и указывают на протяженность сиюминутного действия…

Одно тебе ясно сразу: эта вещь не имеет ничего общего с начатым тобой романом. Совпадают лишь отдельные имена героев, что само по себе, конечно, странно, но сейчас уже не до этого, потому что мало-помалу из трудно дающегося перевода с листа в исполнении Уцци-Туцци вырисовывается сюжетная линия, из старательной расшифровки глагольных сгустков выступает развернутое повествование.

Над крутым косогором склонившись

Чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что мир стремится о чем-то меня известить, уведомить, предупредить. Я чувствую это с тех пор, как приехал в Пётково. Каждое утро я выхожу из пансиона «Кудгива» и отправляюсь на прогулку к порту. Я прохожу мимо метеорологической станции и думаю о надвигающемся конце света, который, впрочем, давно уже наступил и продолжается. Если бы для конца света можно было отвести строго определенное место, этим местом, несомненно, была бы метеорологическая станция в Пётково: под железным навесом, парящим на четырех шатких столбах, укрылись, выстроившись в ряд на длинном кронштейне, самопишущие барометры, гигрометры, термографы; с мерным потикиванием часового механизма разматываются под пером дрожащего самописца рулоны миллиметровой бумаги. Вертушка анемометра, закрепленного на высокой мачте, и приземистая воронка осадкомера довершают хрупкое оснащение станции; уединившись на самом гребне косогора в местном парке, вонзаясь в неподвижно-ровное, жемчужно-серое небо, она возвышается, словно ловушка для циклонов, броская приманка для далеких отголосков тропических океанских смерчей, идеальная мишень для неистовых порывов ураганного ветра.

Бывают дни, когда всякий попадающийся на глаза предмет как будто исполнен глубокого смысла: сообщенное им совсем не просто сообщить другим, определить, выразить словами; именно поэтому оно представляется наиболее важным. Эти знамения или предвестия касаются меня и, вместе, всего мира; во мне они затрагивают не внешнюю, житейскую сторону, а то, что происходит внутри, в глубине моего существа; и в мире – не какую-нибудь частность, а всеобщую суть бытия. Надеюсь, вы поймете, сколь трудно мне изъясняться на сей счет иначе, чем сплошными намеками.

Понедельник. Сегодня у моря я видел, как из окошка тюремной камеры высунулась рука. Я привычно прогуливался по дамбе, огибая старую крепость с тыльной стороны. Крепость обнесена кольцом

округлых стен; окна, схваченные двойной, а то и тройной решеткой, кажутся замурованными. Зная, что в крепости содержатся заключенные, я, однако же, всегда воспринимал ее как часть застывшей природы, каменного царства. Вот почему возникшая из оконной слепоты рука удивила меня так, словно она выступила из кремнистой твердыни скалы. Рука зависла в неестественной позе; надо думать, окна в камерах находятся едва ли не под самым потолком и вдобавок прорублены в неохватной толще стены; по-видимому, заключенный совершил поистине акробатический трюк, под стать заправскому гимнасту, чтобы просунуть руку сквозь решетки и взмахнуть ею на свободе. Взмах не был знаком узника – мне или кому другому; во всяком случае, я не воспринял взмах как знак, в тот миг я и не думал об узниках крепости; скажу лишь, что рука показалась мне тонкой и белой, почти как у меня; ничто в ней не указывало на грубость, предполагаемую в руке острожника. То был скорее знак, поданный мне камнем: камень предупреждал, что мы созданы из одного вещества, и потому что-то, что делает меня мною, останется, не сгинет после конца света; возможность поддерживать связь сохранится и в безжизненной пустыне, где не будет ни меня, ни напоминания обо мне. Таковы мои первые впечатления, ибо только они чего-то по-настоящему стоят.

Я дошел до бельведера; под ним видна полоска пустынного пляжа, выползающего из свинцового моря. Плетеные кресла с высокими, загнутыми корзиной спинками, заслоняющими от ветра, расположились полукругом, словно изображая мир в тот момент, когда человеческий род уже исчез, а вещи лишь подчеркивают его отсутствие. Я почувствовал легкое головокружение, словно безостановочно низвергаюсь из одного мира в другой и в каждый из них попадаю вскоре после того, как произошел конец света.

Через полчаса я снова оказался на бельведере. Сбоку от кресла, обращенного ко мне спинкой, развевалась лиловая лента. Я спустился с мыса по крутой тропинке до площадки, откуда меняется угол зрения. Как я и ожидал, в кресле-корзине, полностью скрытая плетеными овальными бортиками, сидела мадемуазель Звида в белой соломенной шляпке; раскрыв на коленях альбом для эскизов, она рисовала раковины. Я не особо обрадовался этой встрече: дурные утренние знаки отвращали меня от разговора; уже без малого месяц, как я

встречаю ее одну во время моих прогулок по горам и дюнам и ищу случая заговорить с ней; ради этого я и выхожу каждый день из моего пансиона, но каждый день что-то удерживает меня.

Мадемуазель Звида остановилась в гостинице «Морская лилия»; ее имя сообщил мне портье; скорее всего, она узнала об этом; в это время года в Пётково мало отдыхающих, а молодежь и вовсе можно по пальцам пересчитать; то и дело сталкиваясь со мной, она, наверное, ждет, когда же я наконец поздороваюсь. Причин, препятствующих нашей возможной встрече, более чем достаточно. Во-первых, м-ль Звида собирает и рисует раковины; много лет назад, в отрочестве, у меня была прекрасная коллекция раковин, потом я забросил это занятие и решительно обо всем забыл: о классификации, морфологии, географическом распределении различных видов; разговор с м-ль Звидой неизбежно зашел бы о раковинах; в этом случае я даже не представляю, как себя вести: изображать полное невежество или, поднатужившись, припомнить давнишнее и бесплодное увлечение; мысль о раковинах заставляет в очередной раз задуматься о моих отношениях с жизнью, состоящей из полузабытых и неосуществленных замыслов; отсюда и это извечное чувство неловкости, в конечном счете обращающее меня в бегство.

К сказанному надо добавить следующее: усердие, с коим эта девушка предается рисованию раковин, указывает на ее стремление выявить совершенство как форму, которую мир может, а значит, должен обрести; я же, напротив, давно убедился, что совершенство возникает лишь в дополнение к чему-то, случайно и, следовательно, не представляет ни малейшего интереса, так как истинная природа вещей раскрывается только в распаде; при знакомстве с м-ль Звидой полагалось бы лестно отозваться о ее рисунках – выполненных, насколько я успел заметить, с немалым изяществом, – и сделать вид, будто я принимаю эстетический и нравственный идеал, который я отвергаю; или сразу объявить о моем мироощущении, рискуя тем самым уязвить ее.

Третье препятствие – мое здоровье; хоть оно и заметно улучшилось благодаря пребыванию на море, рекомендованному мне врачами, но все же его состояние ограничивает число прогулок и круг новых знакомств; временами у меня бывают вспышки старых болезней, в

особенности обострения докучливой экземы, отбивающей всякое желание общаться с кем-либо.

Иной раз мы перебрасываемся парой слов со здешним метеорологом, господином Каудерером, когда я застаю его на метеостанции. Г-н Каудерер неизменно появляется там в полдень, чтобы снять показания приборов. Это рослый, худощавый мужчина, с прокопченным, как у индейца, лицом. Он подъезжает на велосипеде, сосредоточенно глядя впереди себя, словно удержание равновесия требует от него предельного внимания. Прислонив велосипед к столбу, он расстегивает привязанную к раме плоскую сумку и достает продолговатый узкий журнал. Поднимается по лестничным жердочкам и переписывает данные приборов: некоторые карандашом, некоторые толстой авторучкой, ни на секунду не ослабляя пристального внимания. Из-под длинной куртки виднеются бриджи; вся одежда – из мохнатого серого сукна в черно-белую клетку, включая сплющенную кепочку. Лишь после того, как все необходимые операции закончены, он замечает, что я наблюдаю за ним, и приветливо здоровается.

Я хорошо понимаю, что присутствие г-на Каудерера крайне важно для меня. Одно то, что кто-то еще способен на подобные прилежание и аккуратность, пусть даже, на мой взгляд, совершенно бесполезные, действует на меня успокаивающе, оттого, быть может, что восполняет неопределенность моей жизни; неопределенность, которую я продолжаю воспринимать как вину, несмотря на сделанные мною выводы. Поэтому я частенько наблюдаю за метеорологом, иногда заговариваю с ним, хотя сам по себе наш разговор мне в общем-то безразличен. Он, разумеется, говорит о погоде, обильно сдабривая свою речь специальными словечками, а также о нашем неустойчивом времени, приводя в пример случаи из местной жизни или вычитанные в газетах новости. В эти мгновения он выглядит не столь замкнутым, каким кажется на первый взгляд; наоборот, он распаляется, становится красноречив, особенно когда порицает мысли и поступки подавляющего большинства людей, ибо сам он из тех, кто по натуре склонен к недовольству.

Сегодня г-н Каудерер объявил мне, что будет отсутствовать несколько дней и должен найти себе замену на это время, однако не знает, кому доверить столь ответственное дело, как запись показаний метеоприборов. Он спросил, нет ли у меня желания научиться

считывать данные приборов, в этом случае он охотно покажет, как это делается. Я не сказал ему ни да ни нет, по крайней мере не дал ясного ответа, но оказался рядом с ним, когда он стал объяснять, как делать максимальный и минимальный замеры, как определять изменение давления, количество осадков, скорость ветра. Словом, не дав мне опомниться, он возложил на меня свои обязанности на ближайшие дни, начиная с завтрашнего полудня. Времени на обдумывание не было, а говорить ему, что подобные вещи не решаются с бухты-барахты, я счел неуместным. Пришлось согласиться. Впрочем, особого неудовольствия от этого поручения я не испытываю.

Вторник. Сегодня утром я впервые заговорил с м-ль Звидой. Роль метеоролога отчасти помогла мне совладать с моей нерешительностью. Впервые за время моего пребывания в Пётквo обозначилась какая-то определенность, избежать которую я никак не мог; поэтому, как бы ни сложилась наша беседа, без четверти двенадцать я скажу: «Чуть не забыл, мне пора на метеостанцию: нужно делать замеры» – и откланяюсь, возможно, скрепя сердце, возможно, с облегчением, во всяком случае, с уверенностью, что иначе поступить нельзя. Думаю, что смутно уловил это еще вчера, когда г-н Каудерер предложил заменить его; смекнул, что это подвигнет меня на разговор с м-ль Звидой; но только сейчас все окончательно прояснилось, если, конечно, прояснилось.

М-ль Звида рисовала морского ежа. Она сидела на краю мола на складном стульчике. Еж опрокинулся на большом валуне и раскрылся: как ни старался он выпрямиться, сгибая острые иглы панциря, ничего не выходило. Из-под кончика карандаша выступал набросок влажной мякоти моллюска; ежиное брюшко то растягивалось, то сжималось, отливаясь на ватмане плавной игрой светотени, обрамленной густой и колкой штриховкой. Наперед заготовленная мною речь о форме раковин как обманчивой гармонии, оболочке, скрывающей истинную суть природы, пришлась бы теперь некстати. Вид морского ежа и самый рисунок вызывали неприятные, мучительные ощущения, какие бывают при виде вскрытых и выставленных напоказ внутренностей. Для начала я заметил, что нет ничего труднее, чем рисовать морских ежей: как увиденная сверху игольчатая спинка, так и беспомощно завалившийся навзничь моллюск, несмотря на лучистую симметрию

шаровидного тельца, почти не оставляют зацепок для линейного изображения. Отвратный натурщик занимал ее тем, отвечала она, что напоминал навязчивый образ ее сновидений, от которого она хотела избавиться. Прощаясь, я осведомился, не могли бы мы увидеться завтра утром на том же месте. Она ответила, что завтра у нее какое-то неотложное дело, но послезавтра снова пойдет на этюды и я обязательно встречу ее.

Пока я возился с барометрами, к вышке подошли двое. Прежде я их никогда не видел: оба в черных запахнутых пальто с поднятыми воротниками. Справлялись о г-не Каудерере: где он, куда отправился, знаю ли я его адрес, когда вернется. Сказал, что не знаю, и поинтересовался, кто они и почему меня об этом спрашивают.

– Просто так, – буркнули они и удалились.

Среда. Я отнес букет фиалок в гостиницу «Морская лилия». Для м-ль Звиды. Портье сказал, что она ушла чуть свет. Я долго бродил, надеясь случайно встретить ее. На плацу перед крепостью теснились в очереди родственники заключенных: нынче в тюрьме день свиданий. Среди щупленьких женщин в платках и хнычущих детей я приметил м-ль Звиду. Лицо скрыто черной вуалью под полями шляпы; держится невозмутимо: высоко и горделиво поднята голова.

В углу плаца, словно присматривая за очередью перед тюремными воротами, стояли те двое в черном, что расспрашивали меня вчера у вышки.

Морской еж, вуаль, двое неизвестных, – черный цвет продолжает настойчиво обращать на себя мое внимание: эту настойчивость я воспринимаю как зов смерти. Я давно уже сознательно пытаюсь обособиться от темноты. Запрет врачей выходить после заката обрек меня на долгие месяцы дневного существования. Но главное даже не это, а то, что в дневном свете, в этом размытом, бледном, почти бестенном сиянии я нахожу куда более вязкие и густые сумерки, чем сумерки ночи.

Среда. Вечер. Первые часы сумерек я каждый вечер посвящаю этим строкам, не будучи уверенным, что их когда-нибудь прочтут. Шар из стеклянного теста, подвешенный к потолку моей комнаты в пансионе «Кудгива», озаряет бег моего письма, быть может, излишне

нервозного, чтобы будущий читатель сумел его разобрать. Быть может, этот дневник увидит свет много-много лет спустя после моей смерти, когда наш язык претерпит непредсказуемые изменения и некоторые вполне обычные сейчас слова и выражения зазвучат в диковинку и малопонятно. Так или иначе, у нашедшего мой дневник, наверное, будет передо мной одно безусловное преимущество: из письменной речи всегда можно извлечь словарь и грамматику, вычленить предложения, изложить или переиначить их на другом языке; я же пытаюсь прочесть в череде ежедневно возникающих на моем пути вещей намерения окружающего мира в отношении меня и продвигаюсь наугад, зная, что не существует такого словаря, который выразил бы тяжесть сумрачных намеков, что скрыты в вещах. Я бы хотел, чтобы это колыхание предчувствий и сомнений дошло до моего чтеца не как досадная помеха для понимания написанного мною, но как самая его суть; и ежели продолжение моих мыслей будет ускользать от того, кто возьмется проследить за ним, исходя из основательно переменившегося склада ума, главное, чтобы ему передалось усилие, совершаемое мною с единственной целью уловить между строками вещей уклончивый смысл того, что меня ждет.

Четверг.

– Благодаря специальному разрешению тюремного начальства, – объяснила мне м-ль Звида, – я могу входить в крепость в дни посещений и сидеть за столом в комнате свиданий с рисовальным альбомом и угольным карандашом. В простых человеческих чувствах родственников кроется множество увлекательных сюжетов для этюдов с натуры.

Я ни о чем ее не спрашивал, просто она увидела меня вчера на плацу и сочла своим долгом объясниться. Лучше бы она ничего не говорила, ибо я не питаю ни малейшего пристрастия к изображению человеческих фигур и не знал бы, что сказать, покажи она свои наброски, – впрочем, она их так и не показала. Я подумал, что, вероятно, наброски помещаются в особую папку, которую м-ль Звида оставляет в надзирательской; ведь вчера – я хорошо это помнил – при ней не было ее неразлучного спутника – рисовального альбома, а заодно и пенала для карандашей.

– Если бы я умел рисовать, то целиком посвятил бы себя изучению формы неодушевленных предметов, – произнес я с решительностью в голосе, желая переменить тему разговора, но еще и потому, что действительно склонен распознавать свое душевное состояние в неподвижной му́ке вещей.

М-ль Звида немедленно согласилась со мной: гораздо охотнее она нарисовала бы, скажем, небольшой четырехлапый якорь (рыбаки еще называют их «кошками»). Она показала несколько таких якорей, когда мы проходили мимо рыбацких баркасов, пришвартованных к молу, и пояснила, в чем трудности изображения замысловатых изгибов и удаляющихся перспектив четырех якорных лап. И тут я понял, что в этом предмете содержится адресованное мне послание и я должен расшифровать его: якорь – призыв закрепиться, сосредоточиться, взять себя в руки, докопаться до сути, положить конец прежней неустойчивости и поверхностности. Хотя подобное толкование оставило лазейки для сомнений, ведь с таким же успехом это мог быть призыв сняться с якоря и выйти в открытое море. Есть в форме «кошки» – четыре оскалившихся зуба, четыре железные лапы, истерзанные каменистым дном, – нечто, напоминающее мне: любое решение будет сопряжено с надрывом, болью и страданием. Слабым утешением служило мне то, что речь шла не о грузном, глубоководном якоре, а о юрком прибрежном якорьке; следовало не отказываться от юношеской беззаботности, а лишь слегка передохнуть, призадуматься, обозреть потемки самого себя.

– Чтобы как можно точнее изобразить этот предмет во всех ракурсах, – сказала м-ль Звида, – желательно постоянно держать его при себе, постараться сблизиться с ним. Как по-вашему, смогу я купить якорь у местных рыбаков?

– Давайте спросим, – отозвался я.

– А может, вы и спросите? Сама я не осмелюсь – еще начнут шептаться: с чего это вдруг горожанка так носится с какой-то рыбацкой железякой?

Я мгновенно представил, как протягиваю Звиде железную «кошку», точно букет цветов. При всей своей несообразности эта сцена была отмечена некой вопиющей жестокостью. В ней, несомненно, таился ускользающий от меня смысл; пообещав себе не торопясь поразмыслить над этим, я согласился.

– Хорошо бы получить «кошку» вместе со швартовым тросом, – уточнила Звида. – Я могу часами без устали рисовать свернутый канат. Постарайтесь взять канат подлинней: метров десять – двенадцать.

Четверг. Вечер. Врачи разрешили мне изредка и в меру употреблять спиртные напитки. Ближе к закату я пошел отпраздновать это событие в трактир «Шведская звезда» – пропустить стаканчик горячего рому. У стойки толпились рыбаки, таможенные досмотрщики, грузчики. Сквозь беспорядочный гул пробивался пьяный голос пожилого человека в форме тюремного надзирателя, заливавшего очередную байку:

– И вот, значит, каждую среду эта надушенная дамочка дает мне сотенную, чтобы я, значит, оставил ее наедине с заключенным. А к четвергу – по пивку вдаришь – глядь, от сотенной уже ни шиша. А кончится свидание, выходит, значит, моя дамочка, а от ее туалетов на версту тюремным запашком разит; зато арестантик мой вертается в камеру, ровно граф какой – цветет и пахнет дамочкиными духами. А от меня – как пивом разило, так и разит. Вот, брат, какая пошла житуха пахучая.

– Что жизнь, что смерть – все едино, – вмешался его собутыльник, по всему видать, могильщик. – Ты думаешь, я чего пивко-то сосу? Да чтобы смрад упокойника заглушить. Только он, смрад этот, пивной душок из тебя и вытравит: уж я-то знаю, не одну могилу для нашего брата пьяницы сладил.

Я воспринял этот разговор как напоминание быть начеку: мир рушится и норовит затянуть меня в свой распад.

Пятница. Рыбак неожиданно насторожился:

– А на что это вам кошачий якорь?

Что за бесцеремонность! Мне бы ответить: «Для рисования», но я помнил о стыдливом нежелании м-ль Звиды раскрывать свои творческие замыслы людям, которые не в состоянии их оценить; а ответь я со всей прямотой: «Для мысленного созерцания», – кто бы меня здесь понял?

– Да так, нужно, – сказал я вслух. Накануне вечером мы познакомились с ним в трактире и теперь разговорились.

Ни с того ни с сего рыбак оборвал разговор:

– Ступайте лучше в лавку морских снастей. Я своей снастью не торгую.

Та же история повторилась с хозяином лавки: не успел я спросить насчет якоря, как он нахмурился.

– Приезжим мы этот товар не продаем, – отрезал он. – Потом с полицией хлопот не оберешься. Да еще и двенадцать метров каната… Нет, я вас ни в чем не подозреваю, просто такие случаи у нас уже были: зацепят якорем за тюремную решетку – вот вам и побег…

Слово «побег» – одно из тех слов, услышав которые я начинаю напряженно размышлять. Поиск якоря точно указывает мне путь к побегу, а может, к преображению или воскресению. С внутренним содроганием отметаю я мысль, что истинная темница – это мое бренное тело, а ожидающий меня побег – отделение души, начало сверхземной жизни.

Суббота. После многомесячного перерыва я впервые вышел прогуляться ночью. Я сильно волновался. Особенно боялся застудить голову, что бывает со мной нередко. Поэтому перед выходом я натянул на голову шерстяной шлем, на него – вязаную шапочку, а сверху нахлобучил фетровую шляпу. Как следует укутавшись и не забыв обмотать шарфом шею и поясницу, надеть теплую фуфайку, джемпер, кожаную куртку и сапоги на меху, я почувствовал некоторую уверенность. Ночь, как я убедился чуть позже, была мягкой и тихой. Я по-прежнему недоумевал: зачем г-ну Каудереру понадобилось назначать мне свидание глубокой ночью, да еще на кладбище; зачем нужно было тайно и с великими предосторожностями присылать эту загадочную записку? Если он вернулся, то почему мы не можем увидеться, как обычно, днем? А если не вернулся, то кто меня ждет на кладбище?

Кладбищенские ворота приоткрыл могильщик, которого я видел в трактире «Шведская звезда».

– Мне нужен господин Каудерер, – сказал я.

– Господина Каудерера нет, – прозвучало из темноты. – Но на кладбище обитают те, кого уже нет. Так что заходите.

Я шел мимо могильных плит. Вдруг рядом мелькнула быстрая, шуршащая тень. Тень притормозила и соскочила с седла.

– Господин Каудерер! – воскликнул я от удивления при виде человека, колесившего среди могил на велосипеде с погашенной фарой.

– Тсс! – шикнул он. – Вы ведете себя крайне неосмотрительно. Когда я доверил вам метеостанцию, то не предполагал, что вы попытаетесь сбежать и тем самым скомпрометируете себя, знайте, что мы не любим уклонистов. Необходимо запастись терпением. У нас уже есть общий план действий, долгосрочный план.

Когда г-н Каудерер сказал «мы» и сделал широкий жест рукой, я подумал, что он говорит от имени мертвецов. Мертвецы, представителем которых, очевидно, был г-н Каудерер, объявляли мне, что пока не собираются принимать меня в свои ряды. Я почувствовал несказанное облегчение.

– Мне придется продлить мое отсутствие, в том числе и по вашей вине, – добавил он. – На днях вас вызовут к комиссару полиции: он будет расспрашивать о кошачьем якоре. Будьте внимательны и не вмешивайте в эту историю меня; помните, что вопросы комиссара полиции так или иначе сведутся к тому, чтобы вы признали некие факты, касающиеся моей персоны. Вам обо мне ничего не известно, кроме того, что я в отъезде и не сказал, когда именно вернусь. Можете сообщить, что я просил вас подменить меня на несколько дней для регистрации данных метеоприборов. Впрочем, с завтрашнего дня вы освобождаетесь от посещения метеостанции.

– Нет, только не это! – вскрикнул я в отчаянии, словно только сейчас понял, что лишь проверка данных метеорологических приборов позволит мне совладать с силами вселенной и распознать их порядок.

Воскресенье. Ранним утром я отправился на метеостанцию, поднялся на площадку и замер, вслушиваясь в потикивание измерительных приборов, точно в звучание небесной музыки. Ветер обдувал утреннее небо, перенося с места на место пушистые облака; сначала облака выстлались ровными перышками, затем всклубились рыхлыми кучками; около половины десятого хлынул дождь, и осадкомер немедленно отметил несколько центилитров; погодя выступила неполная радуга и вскоре исчезла; потемневшее небо снова стало затягиваться облаками; самописец барографа опустился, выведя почти вертикальную линию; рокотнул гром, ударил град. Стоя на

самом верху, я чувствовал, что держу в руках грозу, облака, молнии и туманы, но не как божество – нет, не думайте, будто я сумасшедший, я вовсе не считал себя Зевсом-громовержцем, скорее дирижером оркестра: перед ним лежит готовая партитура, и он знает, что воспаряющие от инструментов звуки соответствуют тому замыслу, главным хранителем которого он является. Железная кровля отзывалась барабанной дробью под россыпями града; анемометр вертелся как бешеный; скрежещущий, скачущий мир перекладывался в стройные колонки цифр моего журнала; высшее спокойствие царило над кознями стихийных катаклизмов.

В этот миг гармонии и полноты ощущений послышался легкий скрип. Я посмотрел вниз. Между ступеньками лестницы и опорным столбом вышки, свернувшись калачиком, примостился бородатый мужчина, одетый в грубую полосатую куртку, насквозь промокшую под ливнем. Он обратил на меня ясный, твердый взгляд.

– Я совершил побег, – сказал он. – Не выдавайте меня. Прошу вас, предупредите одного человека. Ведь вы не откажете мне, правда? Это в гостинице «Морская лилия».

Внезапно я почувствовал, что в безупречном миропорядке образовалась дыра, невосполнимая прореха.

Глава четвертая

Слушать, когда тебе читают, совсем не то, что читать про себя. Читая про себя, ты можешь задержать бег чтения или, наоборот, – стремглав пронестись по вереницам фраз, ведь временем распоряжаешься только ты. Когда читает кто-то другой, нелегко совместить собственное внимание с изменчивым временем его чтения: чужой голос то мчится во весь опор, то плетется черепашьим шагом.

Слушать, когда переводят с другого языка, – занятие не менее прихотливое. Кажется, будто слово окутано дрожащей дымкой неуверенности, окружено утлым венчиком неопределенности. Когда ты сам читаешь текст, он здесь, перед тобой, ты невольно упираешься в него; когда же переводят вслух, он есть и его нет, и ты никак не можешь прикоснуться к нему.

Свой устный перевод профессор Уцци-Туцци начал как-то нетвердо, точно сомневаясь, верно ли он подбирает и соединяет слова. Он то и дело возвращался к едва пройденному отрывку, приглаживая синтаксические вихры, шлифуя фразы, пока они полностью не притрутся друг к другу, сворачивая и разворачивая их, растягивая и обжимая, задерживаясь чуть ли не на каждом слове, поясняя его идиоматическое употребление и переносные значения, аккомпанируя себе обтекаемо-широкими жестами, как бы призывая тем самым довольствоваться лишь приблизительными соответствиями, поминутно прерываясь, чтобы изложить грамматические правила, упомянуть об этимологии, привести цитату из классиков. И вот когда ты вроде бы убедился, что профессору более по душе филология и эрудиция, чем голый сюжет, оказывается все как раз наоборот: эта наукообразная оболочка нужна единственно для того, чтобы прикрыть сказанное и не сказанное в романе, завуалировать его внутреннее дыхание – которое, того и гляди, развеется, соприкоснувшись с внешним миром, – приглушить эхо исчезнувшего знания, отзывающееся в потемках намеков и недомолвок.

Разрываясь между необходимостью давать пояснения, чтобы помочь тексту раскрыть многообразие своих значений, и сознанием того, что всякое истолкование совершает над текстом произвол и насилие,

профессор не находил ничего лучшего, как зачитывать самые заковыристые места в оригинале. Произношение этого неведомого языка, выведенное из теоретических правил, не переданное звуками живых голосов с их индивидуальной каденцией, не отмеченное следами употребления, обозначающего и преобразующего форму, приобретало абсолютное звучание, не нуждающееся в ответе, словно трель последней птицы вымирающего вида или рев нового реактивного самолета, взрывающегося в небе при первом же испытании.

Мало-помалу что-то зашевелилось, задвигалось, заскользило в этой искаженной, измученной речи. Язык романа возобладал над нерешительностью голоса и стал текучим, прозрачным, зазвучал непрерывно. Уцци-Туцци плескался в нем, как рыба в воде, подыгрывая себе руками (расставленными, точно плавники), губами (слова вырывались наружу и булькали наподобие воздушных пузырьков), взглядом (глаза пробегали по странице, как рыбьи глазки, шарящие по морскому дну, или глаза посетителя аквариума, цепко следящие за передвижением рыб в светящейся стеклянной ванне).

Ты уже не в тесной комнатушке кафедры ботно-угорских языков, загроможденной книжными шкафами, и рядом с тобой нет никакого профессора Уцци-Туцци. Ты целиком погрузился в сюжет, отчетливо видишь тот северный пляж, идешь по свежим следам чувствительного рассказчика. Ты настолько отрешился, что с опозданием замечаешь: возле тебя появился новый слушатель. Краем глаза ты увидел Людмилу. Она присела на стопку книг ин-фолио и жадно вслушивается в продолжение романа. Появилась ли она только сейчас или слушала чтение с самого начала? Вошла ли беззвучно или постучала? Была ли уже здесь, притаившись за книжным шкафом? (Она частенько прячется в этой комнате, говорил Ирнерио. Они занимаются тут всякими непотребствами, говорил Уцци-Туцци.) Или это волшебное видение, вызванное словами профессора-колдуна?

Уцци-Туцци продолжает напевное чтение, ничуточки не удивившись появлению новой слушательницы, как будто она тут и была. Он вздрагивает лишь тогда, когда Людмила, почувствовав, что очередная пауза слишком затянулась, спрашивает:

– А дальше?

Профессор захлопывает книгу.

– А дальше – ничего. Здесь «Над крутым косогором склонившись» прерывается. Почти закончив первую главу романа, Укко Ахти вошел в депрессивное состояние, в котором пребывал несколько лет, совершив три неудачные попытки самоубийства и одну удачную. Данный отрывок был напечатан в посмертном сборнике его произведений вместе с избранными стихами, дневниковыми записями и заметками к очерку о воплощениях Будды. К сожалению, не удалось отыскать набросков дальнейшего сюжета. Но несмотря на его незавершенность, а может, и благодаря ей, «Над крутым косогором склонившись» считается наиболее ярким образцом киммерийской прозы как по своей глубине и выразительности, так и, прежде всего, по своей сокровенности, неуловимости, запредельности…

Голос профессора как бы угасает. Ты вытягиваешь шею, чтобы убедиться, по-прежнему ли он там, за книжной перегородкой, скрывающей его из поля твоего зрения, но никого не обнаруживаешь: возможно, он растворился в куще академических изданий и толстых журналов, истончившись настолько, что проскользнул в охочие до благородной пыли знаний проемы между полками; возможно, Уцци-Туцци унес неумолимый рок, от века довлеющий над предметом его ученых штудий; возможно, профессора поглотила зияющая бездна резко оборвавшегося на полуфразе романа. Тебе так и хочется устоять на краю этой бездны, удержав в последний момент Людмилу или отчаянно ухватившись за нее самому: твои руки судорожно пытаются поймать ее руки…

– Не спрашивайте, где продолжение книги! – Пронзительный крик вырывается из неопределенной точки, затерянной в книжном лабиринте. – Все книги продолжаются по ту сторону… – Голос профессора доносится то сверху, то снизу: куда он подевался? Может, залез под стол, а может, вешается на люстре?

– Где-где? – вопрошаете вы, уцепившись за самую кромку пропасти. – По ту сторону чего?

– Книги – это ступеньки порога… Через него переступили все киммерийские авторы… Дальше начинается язык без слов, язык мертвых; на нем говорится то, что можно выразить только на языке мертвых. Киммерийский – последний язык живущих на этом свете… Язык последнего порога! Мы подходим к порогу, чтобы вслушаться в запредельность… Слушайте…

Но вы уже ничего не слышите. Вы тоже исчезли, забились в угол, крепко прижавшись друг к другу. Это и есть наш ответ? Вы хотите доказать, что и у живых есть язык без слов, на котором нельзя писать книги, зато можно жить, миг за мигом, ничего не отмечая и не запоминая? Вначале существует бессловесный язык живых тел, – именно это должен, по-вашему, признать Уцци-Туцци? – следом возникают слова; с их помощью пишутся книги и предпринимаются тщетные попытки перевести тот, мертвый, язык; затем…

– Все киммерийские книги не закончены… – вздыхает Уцци-Туцци. – Ибо они продолжаются там… на другом, безгласном языке; к нему отсылают все слова книг, которые, по нашему представлению, мы читаем…

– По нашему представлению… Почему по нашему представлению? Мне нравится читать, читать на самом деле… – Это уже говорит Людмила – убежденно и пылко.

Она сидит напротив профессора; одета просто и элегантно, в светлое платье. Вот так же светло и просто она смотрит на мир, увлеченно принимая все, что он предлагает ей, и потому отдаляя от себя эгоцентрическую бездну самоубийственного романа, в конце концов срывающегося в нее. В ее голосе ты ищешь подтверждение твоей потребности приобщиться к вещественному миру, читать только то, что написано, и ничего больше, навсегда изгнать вечно убегающие от тебя призраки. (И пусть ваше объятие – признайся в этом – состоялось лишь в твоем воображении, это все же объятие, и оно может свершиться наяву в любую минуту…)

Людмила неизменно опережает тебя по крайней мере на шаг.

– Приятно сознавать, что есть книги, которые я еще прочту… – говорит она, в полной уверенности, что силе ее желания соответствуют реально существующие, конкретные, хоть и неизвестные, предметы. За такой женщиной тебе не угнаться, ведь она постоянно читает какую-то другую книгу, помимо той, что у нее перед глазами; этой книги, собственно, еще нет, но так как Людмиле этого очень хочется, она не может не появиться.

Профессор сидит за своим письменным столом; в конусе света настольной лампы выступают его ладони; они то ли приподняты над закрытым томом, то ли легонько касаются его, будто печально лаская.

– Чтение, – произносит он, – это вот что: есть нечто, данное в виде письма, твердый материальный объект, который нельзя изменить; через него мы сравниваем себя с чем-то иным, чего с нами нет и что составляет мир нематериальный, невидимый, потому что он остается уделом догадок и воображения или потому что он был и теперь его уже нет: он миновал, рассеялся, безвозвратно затерялся в крае мертвых…

– …или пока еще нет, ведь это нечто желаемое, пугающее, возможное или невозможное, – вставляет Людмила. – Читать – значит идти навстречу чему-то, что скоро сбудется, но никто пока не знает, что это будет… – (Ты видишь, как Читательница простерла взор за пределы печатной страницы и различает на горизонте корабли освободителей или поработителей, ураганы и штормы…) – Я мечтаю о такой книге, в которой ощущалось бы медленное нарастание сюжета, подобное глухим раскатам далекого грома, – исторического сюжета, повествующего о судьбах людей; пусть это будет роман, который вызовет у меня настоящее потрясение, пока еще безымянное и бесформенное…

– Ай да сестричка! А ты, я вижу, делаешь успехи! – Между шкафами возникла девушка с длинной шеей, птичьим лицом, твердым взглядом, обрамленным оправой очков; пышным крылом кудрявых волос; в широкой блузе и узких брюках. – Я как раз пришла сообщить, что нашла роман, который ты ищешь. Это именно то, что нужно для нашего семинара по феминистскому движению. Приходи, если хочешь послушать, как мы будем его разбирать и обсуждать!

– Только не говори, – восклицает Людмила, – что ты тоже раздобыла «Над крутым косогором склонившись» – незаконченный роман киммерийского писателя Укко Ахти!

– У тебя неверные сведения, Людмила. Роман тот самый, но он доведен до конца и написан не на киммерийском, а на кимберийском. Позднée название изменилось на «Не страшась ветра и головокружения», и автор подписался псевдонимом Вортс Вильянди.

– Это фальшивка! – вопит профессор Уцци-Туцци. – Пресловутая литературная подтасовка! Речь идет о поддельной рукописи, распространенной кимберийскими националистами во время антикиммерийской кампании в конце Первой мировой войны!

За спиной Лотарии выстроилась шеренга передового отряда девиц с невозмутимо ясным взглядом; взглядом, слегка настораживающим,

оттого, вероятно, что он слишком ясен и невозмутим. Между ними проталкивается бледный, бородатый человечек с ехидными глазками и скривившимся ртом, на котором отпечаталось выражение постоянного недовольства и разочарования.

– Весьма сожалею, что вынужден возразить многоуважаемому коллеге, – говорит он, – но достоверность означенного текста доказана обнаруженными недавно рукописями, которые тщательно скрывались в киммерийских архивах!

– Меня поражает, Галлигани, – с дрожью в голосе отвечает Уцци-Туцци, – что ты ставишь на карту авторитет кафедры геруло-ойротских языков и литератур ради какой-то дешевой мистификации! Не говоря уже о том, что здесь замешаны территориальные притязания, не имеющие даже отдаленного отношения к литературе!

– Умоляю тебя, Уцци-Туцци, – отзывается Галлигани, – не стоит низводить наш спор до такого уровня. Ты прекрасно знаешь, что я далек от кимберийского национализма, точно так же, как и ты, надеюсь, далек от киммерийского шовинизма. Если сопоставить духовные начала обеих литератур, то поневоле задаешься вопросом: которое из них идет дальше по пути отрицания ценностей?

Кимберийско-киммерийская полемика, похоже, не очень-то трогает Людмилу, поглощенную одной-единственной мыслью: как продлить прервавшийся роман.

– Неужели Лотария права? – спрашивает она тебя вполголоса. – Пусть, это было бы даже хорошо, главное, чтобы начало, которое мы услышали, имело продолжение, и не важно, на каком языке…

– Людмила, – обращается к сестре Лотария, – сейчас мы идем на семинар. Есть желание – присоединяйся, мы будем обсуждать роман Вильянди. Можешь пригласить своего знакомого, если ему, конечно, интересно.

Итак, ты призван под знамена Лотарии. Ее когорта занимает позицию вокруг большого стола в просторной аудитории. Тебе с Людмилой хотелось бы оказаться как можно ближе к толстой тетради, которую Лотария положила перед собой: по-видимому, в ней и содержится искомый роман.

– Мы благодарны профессору кимберийской литературы Галлигани, – вступает Лотария, – за любезно предоставленный нам

редкий экземпляр романа «Не страшась ветра и головокружения», а также за согласие лично выступить на нашем семинаре. Хочу особо подчеркнуть эту открытость профессора, вдвойне ценную для нас на фоне того непонимания, с которым мы столкнулись у некоторых преподавателей схожих дисциплин… – И Лотария бросает выразительный взгляд на сестру, недвусмысленно намекая на Уцци-Туцци.

Для общего представления о романе профессора Галлигани просят вкратце рассказать об истории его создания.

– Хочу лишь напомнить, – начал профессор, – что в результате Второй мировой войны провинции, входившие в состав Киммерийского государства, отошли к Народной Республике Кимберии. Разбирая киммерийские архивные документы, основательно перепутанные в ходе военных действий, кимберийцы смогли по достоинству оценить многогранную личность такого писателя, как Вортс Вильянди. Вильянди писал как на киммерийском, так и на кимберийском. Однако киммерийцы опубликовали только произведения, написанные на их языке, кстати сказать, весьма немногочисленные. Куда важнее, в качественном и количественном отношении, были сочинения Вортса на кимберийском языке. Киммерийцы всячески скрывали их. Прежде всего это относится к эпохальному роману «Не страшась ветра и головокружения». По некоторым предположениям, существует черновая редакция первых глав романа на киммерийском языке, подписанная псевдонимом Укко Ахти. Само собой разумеется, только после окончательного перехода на кимберийский язык автор обрел истинное творческое вдохновение…

– Не буду подробно останавливаться, – продолжал профессор, – на непростой судьбе этой книги в Народной Республике Кимберии. Вначале роман был опубликован как классическое произведение кимберийской литературы. Его даже перевели на немецкий, чтобы дать возможность ознакомиться с ним зарубежному читателю (этим переводом мы сейчас и пользуемся). Затем роман испытал на себе последствия кампаний по идеологической чистке, был изъят из продажи и библиотек. Однако, по нашему убеждению, революционная направленность проявляется в романе особенно ярко…

Тебе и Людмиле не терпится увидеть, как потерянная было книга возродится из пепла. Но сначала нужно дождаться, когда юные участники семинара распределят между собой задания: во время чтения они будут отмечать, как отражены в романе тот или иной способ производства, процесс отчуждения собственности, сублимация подавленности, семантические коды пола, метаязык тела, нарушение ролевых установок в области социальных и межличностных отношений.

Наконец Лотария открывает тетрадь и приступает к чтению. Заслон из колючей проволоки расползается словно паутина. Все молча слушают.

Вы с Людмилой моментально понимаете, что эта вещь не имеет ничего общего ни с «Над крутым косогором склонившись», ни с «Неподалеку от хутора Мальборк», ни тем более с «Если однажды зимней ночью путник». Вы переглядываетесь: сперва вопросительно, потом заговорщически. Будь что будет, вы очутились в новом романе, останавливаться уже не след.

Не страшась ветра и головокружения

В пять часов утра через город потянулись военные обозы. Перед походными кухнями стали выстраиваться очереди. Стоявшие в них старушки держали заправленные салом фонари. На стенах красовались еще не высохшие лозунги, намалеванные за ночь активистами различных фракций Временного совета.

Когда оркестранты вложили инструменты в футляры и вышли из подвала, воздух на улице был зеленый. Часть пути посетители «Новой Титании» все вместе брели за музыкантами, словно не желая разрывать союз, возникший этой ночью в трактире между людьми, заглянувшими туда по случаю или по привычке; они шли плотной группкой – мужчины с поднятыми воротниками пальто напоминали покойников, точнее, мумий, которые вот-вот развеются в прах, извлеченные из саркофагов после тысячелетней спячки; и женщины, все еще охваченные возбужденным порывом: каждая из них напевала что-то свое; сквозь распахнутые шубки виднелись глубокие декольте вечерних платьев, длинные юбки порхали над лужами в нетвердых движениях танца, обыкновенно сопровождающих свежую волну хмельного веселья, подкатившую на смену размякшей и отхлынувшей предшественнице; казалось, в них теплится надежда, что праздник еще не окончен, что еще немного – и оркестранты остановятся посреди улицы, раскроют футляры и вновь достанут саксофоны и контрабасы.

Против здания бывшего банка Левинсона, охраняемого бойцами народной гвардии, с примкнутыми штыками и кокардами на шапках, подгулявшая компания полуночников, точно по команде, рассыпалась, и каждый не прощаясь направился своей дорогой. Мы остались втроем. Валерьян и я взяли Ирину под руки, один с одной стороны, другой – с другой. Я, как всегда, встал справа от Ирины, чтобы не задевать ее громоздкой кобурой с маузером, пристегнутой к портупее. Валерьян был одет в гражданское, так как работал в Комиссариате тяжелой промышленности. Если у него и был пистолет – а я думаю, что был, – то наверняка небольшой и плоский; такие свободно помещаются в кармане. Ирина сделалась молчаливой, почти мрачной; мы слегка оробели – я говорю о себе, но уверен, что Валерьян вполне

разделял мое душевное состояние, хоть мы никогда и не откровенничали об этом, – ибо чувствовали, что теперь она полностью подчинила нас собственной воле, и на какой бы безумный поступок она ни толкнула своих верноподданных после того как замкнется ее пленительный, магический круг, – все это будет сущий пустяк по сравнению с тем, что она выстраивала сейчас в своем воображении, не останавливаясь ни перед какими крайностями в постижении плотских чувств, упоении ума, утолении жестокости. Поистине мы были очень молоды, слишком молоды для подобных переживаний. Я имею в виду нас, мужчин, поскольку в Ирине ощущалась та преждевременная зрелость, какая бывает у женщин ее типа, хотя по возрасту она была самая молодая из нас троих: она делала с нами все что хотела.

Неслышно что-то насвистывая и улыбаясь одними глазами, Ирина точно смаковала удовольствие, навеянное недавней мыслью; чуть погодя свист вырвался наружу, оказавшись задорным маршем из модной в то время оперетки. Мы по-прежнему боязливо ждали, что же такое она нам уготовила, и сами принялись насвистывать игривый марш и бодро вышагивали, точно под звуки чарующего духового оркестра, чувствуя себя одновременно жертвами и триумфаторами.

Это произошло перед церковью Святой Аполлонии, приспособленной под холерный лазарет. Сбоку от паперти, на грубо сколоченных козлах, очерченных широкими кругами извести, были выставлены гробы. Поодаль, в ожидании похоронных подвод, переминались с ноги на ногу озябшие родственники. Рядом молилась коленопреклоненная старушка; шествуя мимо под звуки нашего бесшабашного марша, мы чуть было не опрокинули ее. Старушонка погрозила нам сухоньким желтым кулачком, сморщенным, как печеный каштан, оперлась вторым кулачком на брусчатку и завизжала: «Окаянные господа!» Скорее даже: «Окаянные! Господа!» – словно ругательством было и то и другое, по возрастающей. Называя незадачливых прохожих господами, она проклинала нас дважды, прибавив к этому смачное словечко на местном говоре, означавшее «продажные твари», а напоследок припечатала: «Чтоб вы все…» – но тут заметила мою форму и, прикусив язык, опустила голову.

Я так подробно рассказываю об этом случае, потому что – не сразу, а много позже – он был воспринят как предостережение всему, что должно было случиться; а также потому еще, что эти и другие

приметы времени должны протянуться по странице, как протянулись по городу военные обозы (впрочем, слово «обозы» вызывает довольно расплывчатый образ, но именно некоторая расплывчатость и не повредила бы в данном случае, ибо она была разлита в воздухе того смутного времени); как растянулись между домами широкие полотнища лозунгов, призывавших население подписываться на государственный заем; как растеклись по улицам колонны рабочих, маршруты которых не должны были совпадать, поскольку они организованы враждующими профсоюзными объединениями: одни выступали за продолжение забастовки на оружейных заводах Каудерера до победного конца, другие – за прекращение забастовки, настаивая на поголовном вооружении населения для отпора контрреволюционным формированиям, окружающим город. Пересекаясь, эти косые линии образуют ограниченное пространство, в котором перемещаемся я, Валерьян и Ирина, где наша история может возникнуть из ничего, найти исходную точку, получить направление, обрести очертания.

С Ириной я познакомился в тот день, когда фронт придвинулся к Восточным воротам на расстояние не менее двенадцати километров. Пока городское ополчение – юноши моложе восемнадцати и старики резервисты – закреплялось на подходах к Скотобойне – само название этого места звучало как дурное предзнаменование, неизвестно только для кого, – непрерывный поток беженцев вливался в город по Железному мосту. Крестьянки несли на головах корзины, из которых выныривали гусиные шеи; обезумевшие свиньи шмыгали под ногами, удирая от гикающих парней (в надежде избежать военных реквизиций крестьянские семьи укрывали детей и домашний скот или отправляли их прочь от себя); понуро плелись пешие и конные солдаты, бросившие свои части или пытавшиеся присоединиться к основным силам, рассеянным повсюду; убеленные сединами аристократки возглавляли вереницы навьюченных слуг; санитары тащили носилки с ранеными, а рядом тянулись выписанные из госпиталей бойцы, разносчики мелких товаров, чиновники, монахи, цыгане, воспитанницы бывшего Училища офицерских дочерей в одинаковых пальтишках – все они мелькали в узорчатых завитках перил, точно гонимые влажным, пронизывающим ветром, дувшим, казалось, из прорех в географической карте, из брешей разорванных войною граней

и границ. Многие искали в те дни убежища в городе; кто боялся разгула восстаний и грабежей, кто, по известным причинам, не хотел оказаться на пути старорежимных войск; кто стремился найти защиту у хрупкой власти Временного совета, а кто просто пользовался неразберихой и хладнокровно преступал закон, старый или новый – какая разница. Каждый чувствовал, что на карту поставлена его собственная жизнь; тут уже было не до разговоров о солидарности, настало время пускать в ход зубы и когти; и все же складывалась некая общность – негласный уговор, по которому перед лицом опасности люди становились плечом к плечу и понимали друг друга без лишних слов.

Наверное, поэтому, а может, потому, что во всеобщей свистопляске молодость узнает самое себя и получает от этого удовольствие, – так или иначе, когда тем утром я шел по Железному мосту в толпе беженцев, мне было радостно, легко и ладно с остальными, с самим собой, со всем белым светом, как не бывало уже давно. (Жаль, если сказал неуклюже; скажу иначе: я чувствовал, что нахожусь в ладу с безладицей других, себя и целого мира.) Я подобрался к концу моста, туда, где лестничный марш спускается к берегу; людской поток замедлялся, застревал; приходилось сдерживать напор толпы, иначе наверняка опрокинут на спускавшихся медленнее – безногих калек, переваливавшихся с костыля на костыль; лошадей, ведомых за удила наискосок, чтобы подковы не скользили по железным ступенькам; мотоциклы с колясками, переносимые на руках (разумеется, уместнее было бы переправляться по Грузовому мосту, ворчали недовольные голоса из толпы, но это означало бы увеличить путь на добрую милю), – и тут заметил женщину, спускавшуюся по ступеням рядом со мной.

Она была в пальто с меховыми обшлагами и подолом, модной шляпке с опущенными вниз полями, вуалью и приколотой розой – словом, весьма элегантная и к тому же миловидная особа, в чем я убедился мгновением позже. Глядя на нее сбоку, я вдруг увидел, как она вытаращила глаза, поднесла руку в перчатке к раскрытому рту, испуганно вскрикнула и попятилась. Даму наверняка бы сбила с ног и затоптала наступавшая сзади, как стадо слонов, толпа, не подхвати я ее вовремя под локоть.

– Вам дурно? – справился я. – Обопритесь на меня. Ничего, сейчас пройдет.

Она точно одеревенела и не могла ступить и шагу.

– Пустота. Там, внизу, пустота, – пробормотала особа. – Помогите, кружится голова.

Казалось, ничто не должно было вызвать головокружение. Однако даму и впрямь охватил панический страх.

– Не смотрите вниз, держитесь за мою руку. Продвигайтесь за остальными, мы уже в конце моста, – увещевал я даму, пытаясь успокоить ее.

– Отрывая ногу от ступеньки, я как будто опускаю ее в пустоту, лечу в пропасть, вслед за другими людьми… – отвечает она, не двигаясь с места.

Смотрю в промежутки между железными ступенями на бесцветную реку; где-то там, в глубине, как молочные облака, проплывают клочковатые льдины. В секундном замешательстве я чувствую примерно то же, что и она: пустота продолжается пустотой; небольшой уступ сменяется новым уступом; пучина низвергается в бездонную пропасть. Обнимаю ее за плечи, силюсь устоять под натиском бранящейся толпы: «Эй, дайте пройти! Нашли время обниматься, бесстыжие, а ну – с дороги!» – но единственный способ уберечься от накрывающего нас людского оползня – шагнуть вперед, прямо по воздуху, взлететь… Теперь и мне чудится, будто я завис на краю бездны…

Как знать, может, этот рассказ и есть мост через пустоту; он тянется, выбрасывая впереди себя события, ощущения, переживания, и создает индивидуальный и коллективный вихрь; посреди вихря стелется дорожка, и пока неясно, что вокруг нее и куда она ведет. Я пробиваюсь сквозь нагромождение деталей, скрывающих пустоту, которую не хочу замечать, и устремляюсь дальше; моя дама замирает на обрыве ступеньки в потоке стекающих вниз людей; приходится почти силой увлечь ее за собой шаг за шагом – на мощеную набережную.

Очнувшись, она поднимает глаза, гордо смотрит перед собой и, не оборачиваясь, уверенно направляется к улице Мельников. Я отчаянно бросаюсь вдогонку.

За нами из последних сил семенит рассказ, едва успевая передать диалог, возведенный на пустоте, – реплику за репликой. Для рассказа

мост не кончился: под каждым словом открывается ничто.

– Прошло? – спрашиваю я.

– Пустяки. Со мной такое часто: голова начинает кружиться, когда меньше всего этого ждешь… И бояться вроде бы нечего… И не важно, высоко я стою или низко… Ночью смотришь на небо и думаешь: как далеки эти звезды… Или, скажем, днем… Вот лягу сейчас на спину, посмотрю вверх – опять все поплывет… – и она показывает на небо, по которому мчатся подгоняемые ветром облака. Она говорит о головокружении как о волнующем ее соблазне.

Я слегка разочарован, ведь она не сказала мне даже спасибо.

– Здесь не то место, где можно лечь и смотреть на небо. Ни днем, ни ночью. Поверьте, я в этом кое-что понимаю.

Как в промежутках между железными ступеньками моста, в паузах между репликами нашего диалога обнажается невосполнимая пустота.

– Вы знаете, как надо смотреть на небо? А вы, случайно, не звездочет?

– У меня другая обсерватория, – показываю я на артиллерийские эмблемы в своих петлицах. – Целыми днями я наблюдаю за полетом снарядов во время артобстрелов.

С эмблем ее взгляд переходит на отсутствующие у меня погоны, затем на полузаметные знаки отличия, вышитые на рукавах.

– Вы с фронта, лейтенант?

– Алекс Циннобер, – представляюсь я. – Не уверен, что ко мне можно обращаться по званию. В нашем полку все звания отменены; правда, распоряжения постоянно меняются. Пока что я просто боец с двумя нашивками на рукаве, вот и все.

– А меня зовут Ирина Пиперин. Так меня звали и до революции. Как будут звать дальше – не знаю. Я была художником по тканям, и пока ткани не появятся снова, буду разрисовывать воздух.

– После революции одни изменились настолько, что их невозможно узнать; другие, наоборот, остались такими, как прежде. Видно, они были готовы к новым временам. Не так ли?

Ирина не отзывается.

– Если, конечно, – добавляю я, – их не оградит от изменений полный отказ от изменений. Это и есть ваш случай?

– Я… Скажите сначала, насколько, по-вашему, изменились вы?

– Ненамного. Я сохранил понятие былой чести и всегда подам руку покачнувшейся даме, даже если никто теперь за это не благодарит.

– У каждого бывает минутная слабость – и у мужчин, и у женщин. Не исключено, лейтенант, что мне еще представится возможность отплатить вам за вашу любезность. – В ее голосе прозвучала горечь, почти обида.

На этом диалог, приковавший к себе столько внимания и заставивший ненадолго позабыть об исковерканном городском пейзаже, мог бы прерваться: все те же военные обозы потянулись через площадь, страну и страницу, разъединив нас; а может, это были все те же очереди несчастных женщин перед магазинами или бессменные колонны рабочих с транспарантами. Ирина уже далеко; шляпка с розочкой плывет по морю серых шапок, касок, платков; пытаюсь догнать ее, она не оборачивается.

Далее следует несколько абзацев, пестрящих именами генералов и депутатов; сообщающих об организации обороны и положении на фронтах, о расколах и слияниях представленных в Совете партий; сдобренных сводками погоды: о проливных дождях, инее, облачности, холодных северных циклонах. Все это, однако, подается лишь в качестве гарнира моего душевного состояния: я то беспечно отдаюсь на произвол судьбы, то угрюмо замыкаюсь в себе, сосредоточиваясь на неотступной мысли, словно происходящее вокруг нужно только для того, чтобы я мог замаскироваться, спрятаться, словно только для этого повсюду воздвигаются баррикады из мешков с песком (город как будто готовится к уличным боям), устанавливаются противотанковые надолбы, на которых активисты разных течений расклеивают по ночам листовки, мгновенно размокающие от дождя и совершенно неразборчивые из-за набухшей бумаги и потекших чернил.

Всякий раз, проходя мимо роскошного особняка, где разместился Комиссариат тяжелой промышленности, я говорю себе: «Надо бы зайти проведать Валерьяна». Я повторяю эту фразу со дня приезда. И каждый день откладываю свое намерение: мешают неотложные дела. А еще говорят, что для кадрового военного у меня слишком много свободного времени. В чем заключаются мои обязанности – не вполне понятно. Я вечно мотаюсь по управлениям Генерального штаба; в казарме меня видят редко, словно я не числюсь ни в одном

подразделении, да и за рабочим столом не просиживаю дни и ночи напролет.

Другое дело Валерьян. Он-то из-за стола просто не встает. Вот и сегодня, когда я наконец поднялся к нему, он тут как тут – на рабочем месте. Однако занят отнюдь не текущими вопросами, а чистит револьвер. Завидев меня, Валерьян усмехается в густую щетину:

– Ага, и ты туда же – в капкан. Вместе с нами.

– А ну как я сам расставляю капканы?

– Какая разница: в каждом капкане свой капкан; один в другом и захлопнутся. Все разом. – Сдается, он хочет о чем-то меня предупредить.

Особняк, в котором расположились отделы Комиссариата, принадлежал известному роду, сколотившему на войне солидный капитал. После революции особняк был конфискован. Часть прежней обстановки – грубоватая роскошь – застряла в доме и перемешалась с мрачной казенной мебелью. Кабинет Валерьяна уставлен будуарными китайскими аксессуарами: тут и расписные вазы с драконами, и лакированные шкатулки, и шелковая ширма.

– Кого, интересно, ты намерен заманить в эту пагоду? Уж не восточную ли царицу?

Из-за ширмы выходит женщина: короткие волосы, халат из серого шелка, молочного цвета чулки.

– Революция революцией, а у мужчин одно на уме, – говорит она. По саркастическому тону я узнаю прохожую с Железного моста.

– Вот видишь! Каждое наше слово ловят чуткие уши… – хихикает Валерьян.

– Революция не придирается к мечтам, Ирина, – отвечаю я.

– Но и не спасает от кошмаров, – парирует она.

– А я и не знал, что вы знакомы, – вмешивается Валерьян.

– Мы повстречались во сне, – говорю я. – В тот момент, когда падали с моста.

– Нет. Каждый видит свой сон, – замечает Ирина.

– И умудряется проснуться в таком укромном местечке, где нечего бояться головокружения, – не унимаюсь я.

– Сейчас от всего голова кругом идет, – произносит Ирина, берет собранный Валерьяном револьвер, разглядывает его, прищурившись, смотрит в ствол, точно проверяя, хорошо ли он вычищен; крутит

барабан, вставляет в гнездо патрон, оттягивает собачку, подносит ствол к глазу, вращая барабан. – Как бездонный колодец. Я слышу зов пустоты, чувствую соблазн нырнуть в нее, окунуться в призывную темноту…

– Эй-эй, полегче с оружием! – восклицаю я, протягивая руку, но Ирина наставляет револьвер прямо на меня.

– Что? Вам можно, а женщинам нет? Истинная революция свершится тогда, когда оружие перейдет к женщинам.

– А мужчины останутся безоружными? По-твоему, это справедливо, товарищ Пиперин? Для чего вообще женщинам оружие?

– Для того, чтобы занять ваше место. Мы будем сверху, а вы снизу. Хоть немного почувствуете, что значит быть женщиной. А ну давай туда, поближе к своему дружку, – командует она, по-прежнему держа меня на мушке.

– У Ирины заранее на все готов ответ, – предупреждает Валерьян. – Так что спорить бесполезно.

– Ну и? – спрашиваю я у Валерьяна в ожидании, что он вмешается и прекратит эту глупую шутку.

Но Валерьян, точно в прострации, смотрит на Ирину отсутствующим взглядом, как человек, отдавшийся на милость победителя; он предвкушает наслаждение от безоговорочного подчинения ее воле.

В кабинет заходит курьер Военного Командования с депешей. Открывшаяся дверь скрадывает Ирину. Она исчезает. Валерьян как ни в чем не бывало принимает посетителя.

– Послушай… – спрашиваю я, едва мы можем говорить. – Что это за шуточки?

– Ирина никогда не шутит, – отвечает он, не отрываясь от бумаг. – Вот увидишь.

С этой минуты время видоизменяется. Ночь постепенно растягивается. Ночи превращаются в одну сплошную ночь в ночном городе, исхоженном вдоль и поперек нашей, теперь уже неразлучной, троицей: сплошную ночь, увенчанную в комнате Ирины сценой, по сути интимной, но вместе показной и откровенно вызывающей, обрядом тайного и жертвенного культа, которого Ирина является одновременно жрицей, божеством, осквернительницей и жертвой. Рассказ возобновляет свой прерванный ход; пространство его

движения перегружено, плотно; в нем нет ни единой лазейки, куда мог бы просочиться ужас пустоты; за пологом, расчерченным геометрическим рисунком, среди разметанных подушек и валиков, воздух напоен запахом наших обнаженных тел: груди Ирины слегка выдаются на худощавом торсе; коричневые ареолы сосков пришлись бы к месту на более пышном бюсте; узкий, заостренный лобок выступает в форме равнобедренного треугольника (слово «равнобедренный», однажды соотнесенное с лобком Ирины, наполняется для меня такой чувственностью, что я не в состоянии произносить его без внутренней дрожи). Ближе к центру сцены линии норовят надломиться, становятся извилистыми, как струйки дыма, поднимающиеся из жаровни, в которой догорают нехитрые пряности армянской бакалейной лавки: дурная слава курильни опиума стоила ей полного разгрома, учиненного мстительной толпой обывателей; начинают корчиться – линии, словно невидимые путы, связывающие нас троих; и чем яростнее мы выкручиваемся, пытаясь освободиться от них, тем крепче затягиваются и впиваются в нашу плоть их узлы. В глубине этого запутанного клубка, в основе драмы нашего негласного союза кроется тайна, которую я ношу внутри себя и не могу открыть никому, тем более Ирине и Валерьяну, – это порученное мне секретное задание раскрыть шпиона, внедрившегося в Революционный комитет с целью сдать город белым.

В революционном вихре, пронесшемся той леденящей, ветреной зимой по улицам столиц, сметая все на своем пути, подобно урагану, рождалась скрытая революция, которой суждено было сокрушить могущество плоти и пола – так думала Ирина и убедила в этом не только Валерьяна (сын уездного судьи, защитивший диплом по политической экономии, поборник учений индийских пустосвятов и швейцарских любомудров, он наперед готов был примкнуть к любой мыслимой доктрине), но и меня, прошедшего куда более суровую школу и твердо знавшего, что совсем скоро нашим судьбам будет вынесен окончательный приговор, то ли революционным трибуналом, то ли полевым судом белых, и что два караульных взвода, с той и с другой стороны, уже поджидают нас с ружьями на изготовку.

Я пробовал увильнуть, забиться в средоточие спирали, где линии расползались, как змеи, следуя изгибам Ирининого тела, упругого и гибкого в своем медленном танце, подвластном не ритму, но

причудливому сплетению и растеканию змеящихся линий. Две змеиные головы хватает Ирина обеими руками; две змеиные головы с упрямым ожесточением проявляют в ответ готовность к прямолинейному проникновению; она же, наоборот, стояла на том, чтобы основное усилие соответствовало гибкости рептилии, изогнувшейся для этого в немыслимой корче.

Ибо то был первый догмат веры учрежденного Ириной культа: отречься от предвзятой вертикальности, прямолинейности, единственного, неумело скрываемого мужского достоинства, еще не утраченного нами, несмотря на то что мы смирились с положением рабов женщины, не допускавшей между нами и намека на ревность или верховенство. «Ниже, – шептала Ирина и давила ладонью на затылок Валерьяна, запуская пальцы в пушистые рыжие вихры молодого экономиста, не давая ему поднять лицо от своего лона, – еще ниже!» – а сама смотрела на меня пронизывающим взглядом и хотела, чтобы я тоже смотрел, чтобы наши взгляды устремились по бесконечным извилинам ломаных линий. Я чувствовал, что ее взгляд не отрывается от меня ни на миг; одновременно я чувствовал на себе и другой взгляд; он следил за мной везде и всюду, взгляд невидимой власти, ждавшей от меня только одного: смерти, не важно, той ли, которую я должен был принести другим, или моей собственной.

Я жду, когда петля Ирининого взгляда ослабнет. Вот наконец она смыкает глаза, и я крадусь в потемках между кушеткой, диваном и буржуйкой туда, где Валерьян оставил как всегда аккуратно свернутую одежду; я проскальзываю в полумраке опущенных Ирининых век, роюсь в карманах, в бумажнике Валерьяна, прячусь в непроглядной тьме ее плотно смеженных век, во мраке крика, вырывающегося из ее нутра, обнаруживаю сложенный вчетверо лист бумаги с моим именем, выведенным стальным пером под формулировкой смертных приговоров за предательство, подписанных, заверенных и скрепленных печатями установленного образца.

Глава пятая

Здесь начинается обсуждение. Герои, их судьбы, черты, окружение – все это отметается прочь и уступает место общим понятиям.

– Полиморфно-перверсивное желание…

– Законы рыночной экономики…

– Гомология значимых структур…

– Девиантное поведение и государственные институты…

– Кастрация…

Лишь ты один пребываешь в подвешенном состоянии; ты и Людмила; никто больше и не думает продолжать чтение.

Ты подходишь к Лотарии, протягиваешь руку к разложенным перед ней бумагам, спрашиваешь: «Можно?» – и собираешься завладеть романом. Но это не книга, а вырванные тетрадные страницы. Где же остальное?

– Извини, я просто хотел взять продолжение, – мямлишь ты.

– Продолжение?.. Да тут на месяц хватит о чем говорить. Тебе мало?

– Вообще-то я не для разговора, а для чтения…

– Понимаешь, семинаров у нас много, а в библиотеке кафедры геруло-ойротских языков только один экземпляр. Вот мы его и поделили. Не равнозначно, конечно; книга распалась, но, по-моему, мне достался лучший кусок.

Чуть позже, за столиком в кафе, вы с Людмилой подводите итог:

– Вот и получается: «Не страшась ветра и головокружения» – это не «Над крутым косогором склонившись»; последний никак не связан с «Неподалеку от хутора Мальборк», который, в свою очередь, не имеет ни малейшего отношения к «Если однажды зимней ночью путник». Остается одно: добраться до первопричины этой путаницы.

– Именно. А благодарить за наши мытарства мы должны издательство. Пусть отчитается за свои фокусы. Надо пойти туда и узнать.

– Являются ли Ахти и Вильянди одним и тем же лицом?

– Первым делом нужно разобраться с «Если однажды зимней ночью путник»; взять у них полный экземпляр, а заодно и полный экземпляр «Неподалеку от хутора Мальборк», при условии, что эти романы

действительно так называются. Если же выяснится, что их настоящие названия и авторы другие, то пусть нам наконец объяснят, какая тайна скрывается за страницами, кочующими из книги в книгу.

– Тогда, – добавляешь ты, – мы, может, и нападем на след «Крутого косогора», законченного или нет – не важно…

– Не стану отрицать, – говорит Людмила, – что я наивно поверила в историю о найденном продолжении…

– …и о «Не страшась ветра и головокружения»: его-то мне и хочется дочитать.

– Мне тоже, хотя, если честно, это не «мой» роман…

Ну вот, снова-здоро́во. Только ступил на верный путь – опять задержка, опять развилка. И так во всем: в чтении, в погоне за утерянной книгой, в распознании вкусов Людмилы.

– Сейчас мне больше всего хотелось бы прочесть такой роман, – поясняет Людмила, – которым двигало бы непреодолимое желание рассказывать, накапливать историю за историей; роман не навязывал бы тебе определенного миропонимания, но давал бы возможность наблюдать за собственным ростом, расцветая и разрастаясь на твоих глазах подобно могучему древу…

В этом ты моментально с ней соглашаешься: оставив позади сотни страниц, исполосованных заумными разборами и рецензиями, ты мечтаешь окунуться в чтение естественное, невинное, бесхитростное…

– Нужно ухватиться за упущенную ниточку, – говоришь ты. – Немедленно в издательство.

– Совсем не обязательно идти вдвоем, – замечает она. – Иди один, потом обо всем расскажешь.

Экая досада. Охота за неуловимым текстом тем для тебя и увлекательна, что ты вышел на нее вместе с Людмилой, что вместе вы проживаете все ее перипетии, дающие нескончаемую пищу для бесед. Надо же, именно теперь, когда, казалось, между вами установилось полное доверие и понимание; и не только потому, что вы перешли на «ты», а потому, что ощущаете себя соучастниками некоего предприятия, в котором никому, кроме нас, видимо, уже не разобраться.

– А ты почему не хочешь пойти?

– Из принципа.

– Как это?

– Существует граница: по одну сторону те, кто делает книги, по другую – те, кто их читает. Я хочу оставаться среди читающих, вот и держусь по эту сторону границы. Иначе бескорыстное наслаждение от чтения кончится или превратится в нечто такое, чего я совсем не хочу. Граница эта крайне размыта и время от времени сглаживается: мир людей, соприкасающихся с книгой профессионально, постоянно ширится и норовит слиться с миром читателей. Конечно, читателей становится все больше и больше, но те, кто пользуется книгами для создания других книг, похоже, множатся гораздо быстрее, чем те, кто просто любит читать. Я знаю, что если в один прекрасный день перейду границу, пусть даже случайно, то могу смешаться с надвигающейся толпой, вот почему я не желаю переступать порога издательства, хотя бы на несколько минут.

– А что же я? – возражаешь ты.

– Ты – не знаю. Смотри сам. Каждый волен поступать по-своему.

Нет, эту женщину никак не переубедить. Ты совершишь вылазку один, а в шесть часов вы встретитесь здесь же, в кафе.

– Вы по поводу рукописи? Ее читают, хотя нет, спутал, уже прочли, с интересом, помню, как не помнить! такая яркая языковая палитра, такая обличительная мощь, столько выстраданных чувств; как, разве вы не получали письма? сожалею, но вынужден вам сообщить, в письме обо всем сказано, его давным-давно отправили, вечно на этой почте проволочки, вы обязательно, обязательно получите, издательские планы перегружены, со сбытом дела неважные, вот видите, все-таки получили? что там еще? благодарим за возможность ознакомиться с вашим трудом, подтверждаем, что позаботимся о возвращении рукописи, так вы хотели ее забрать? нет, пока не нашли, немного терпения, она найдется, не беспокойтесь, у нас никогда ничего не пропадает, совсем недавно нашлась рукопись, которую искали лет десять, о нет, не через десять лет, вашу мы отыщем гораздо раньше, будем надеяться, чего-чего, а рукописей здесь вагон и маленькая тележка, если хотите, мы вам покажем, разумеется, вам нужна только ваша, не чужая же, боже упаси, я в том смысле, что у нас тут столько рукописей, что нам абсолютно все равно, ну вот еще,

выбросить, мы так ею дорожим, нет-нет, не для издания, а чтобы вернуть рукопись вам.

Говорящий – сухопарый, сгорбленный человечек – выглядит еще сухопарее и сгорбленнее, когда к нему обращаются, тянут его за рукав, чем-то озадачивают, подсовывают стопку верстки. «Коллега Каведанья! Послушайте, Каведанья! Нам нужен господин Каведанья!» – и он сосредоточенно вслушивается в просьбу очередного посетителя, глядя на него в упор, с трясущимся подбородком, выворачивая шею от тяжкой ноши нерешенных вопросов, с отчаянным терпением чересчур нервных людей и с ультразвуковой нервозностью людей чересчур терпеливых.

Когда ты вошел в издательство и поведал привратникам о неправильно сброшюрованных книгах, которые хотел бы заменить, тебе посоветовали было обратиться в Отдел распространения; затем, когда ты добавил, что хочешь не только заменить бракованные экземпляры, но и получить объяснение случившегося, тебя направили в Технический отдел; а когда ты уточнил, что главным образом тебя интересует продолжение незаконченных романов… «Тогда вам лучше побеседовать с господином Каведаньей, – заключили они. – Посидите в прихожей, там ждут приема, займите очередь».

И вот, протиснувшись среди посетителей, ты слышишь, как господин Каведанья несколько раз заводит разговор о потерянной рукописи; всякий раз обращается к разным людям, в том числе и к тебе, и всякий раз его прерывают – до того, как он успевает обнаружить подмену, – посетители, редакторы или служащие. Нетрудно понять, что господин Каведанья – это тот непременный в любой конторе человек, на плечи которого сослуживцы интуитивно перекладывают самые сложные и щекотливые поручения. Только ты собираешься с ним заговорить, как ему уже подносят для уточнения издательский план на ближайшие пять лет, или именной указатель, в котором следует поменять нумерацию страниц, или верстку томика Достоевского, которую придется откорректировать от и до, так как везде, где было набрано Maria, теперь решили набирать Mar’ja, а там, где было Pjotr, нужно исправить на Pëtr. Он внимательно выслушивает каждого, мучительно удерживая в памяти незаконченный разговор с предыдущим ходатаем; по возможности старается задобрить наиболее нетерпеливых, уверяя, что не забыл о них и конечно же помнит, в чем

суть дела: «Мы высоко оценили ваш гротеск…» («Что?» – подскакивает исследователь троцкистских расколов в Новой Зеландии.) – Вероятно, вам следовало бы смягчить скабрезные эпизоды… («Да о чем это вы?!» – возмущается специалист по макроэкономике олигополий.)

Неожиданно господин Каведанья исчезает. В коридорах издательства вас подстерегают козни и ловушки; здесь то и дело слоняются какие-нибудь театральные коллективы психиатрических лечебниц, группы, занимающиеся групповым психоанализом, или коммандос феминисток. На каждом шагу господин Каведанья рискует попасть в окружение, плен, пропасть без вести.

Ты очутился здесь в тот момент, когда вокруг издательств уже не роятся, как в былые времена, начинающие поэты и прозаики, будущие поэтессы и писательницы; сегодня такое время (в истории западной культуры), когда самовыражения на бумаге жаждут не столько отдельные личности, сколько коллективы – учебные семинары, прикладные, исследовательские группы, как будто умственный труд слишком тяжкое и унылое занятие, чтобы предаваться ему в одиночку. Фигура автора стала множиться и зачастую появляется вместе с кем-то, ибо никто не вправе говорить за другого; и пошло-поехало: четверо бывших заключенных, один из которых беглый; трое бывших больных с санитаром и рукописью санитара. Или вот еще – парочки; не обязательно, но преимущественно муж и жена, словно в семейной жизни нет большего утешения, чем кропание рукописей.

Каждый из них попросил о встрече с заведующим отделом или старшим редактором, но всех их в конце концов сплавили к господину Каведанье. Потоки слов, относящихся к самым узким, специальным дисциплинам и направлениям, хлынули на пожилого редактора, которого ты с первого взгляда окрестил «сухопарым, сгорбленным человечком», но не потому, что он более сухопар, сгорблен и более человечек, чем все остальные, и не потому, что сочетание «сухопарый, сгорбленный человечек» присуще его манере выражаться, а потому, что он как бы явился из мира, где еще… – нет, не так; он как бы вышел из книги, в которой еще встречаются… – тоже нет; вот: он как бы явился из мира, где еще читают книги, в которых встречаются «сухопарые, сгорбленные человечки».

Не давая себя сбить, он терпеливо ждет, когда новый выплеск просьб и петиций стечет по его лысине, и качает головой, пытаясь заключить вопрос в практические рамки:

– Извините, а вы не могли бы… вы не могли бы полностью перенести постраничные примечания в основной текст, а основной текст немножечко сжать или даже, смотрите сами, поместить вместо примечаний внизу страницы?

– Вообще-то я читатель, просто читатель, а не автор, – выпаливаешь ты с ходу, словно бросаясь на помощь человеку, который вот-вот оступится.

– В самом деле? Прелестно, прелестно, искренне рад! – Обращенный на тебя взгляд впрямь полон симпатии и благодарности. – Очень приятно. Кто-кто, а читатель теперь редкий гость…

В порыве откровения он забывает обо всех неудобствах, отводит тебя в сторонку и доверительно шепчет:

– Я в издательстве уже много лет… Через мои руки проходит уйма книг… Но могу ли я сказать, что читаю? Нет, чтение – это совсем другое… В местечке, где я родился, было мало книг, но тогда я по-настоящему читал, да, читал… Я мечтаю о том времени, когда уйду на пенсию, вернусь в родные края и снова буду читать, как прежде. Иногда я откладываю книгу и говорю себе, что прочту ее на пенсии, но потом понимаю: это будет уже не то… Сегодня мне приснилось, будто я в отчем доме, зашел в курятник и что-то там ищу, ищу – в лукошке, куда несушки откладывают яйца; и что же я нашел? Книгу, одну из книг, которую читал в детстве, массовая серия, все страницы истрепаны, черно-белые картинки разрисованы мною цветными карандашами… Знаете? Мальчишкой я прятался в курятнике, чтобы всласть начитаться…

Ты принимаешься объяснять цель своего прихода. Он сразу понимает, что к чему, даже не дав тебе договорить:

– Значит, и вы… и вы… перепутанные страницы; еще бы, прекрасно знаем, есть начало, но нет продолжения; весь тираж вверх тормашками; вы что-нибудь в этом понимаете? Мы, дорогой мой, ровным счетом ничего.

В руках у него стопка корректуры. Он бережно кладет ее, словно малейшая встряска способна нарушить стройные ряды типографских

знаков.

– Издательство, дорогой мой, – очень хрупкий организм. Достаточно мельчайшему винтику сдвинуться с места – пойдет такой тарарам, что бездна разверзнется у вас под ногами. Знаете, при одной мысли об этом у меня начинает кружиться голова, – и он закрывает глаза ладонями, как будто его преследует видение миллиардов страниц, строк, слов, кружащихся в стремительном водовороте.

– Ну что вы, что вы, господин Каведанья, не стоит принимать это так близко к сердцу! – Теперь уже тебе приходится его успокаивать. – Просто мне как читателю интересно узнать… Впрочем, если вы не можете ничего сказать…

– Охотно поделюсь с вами тем, что знаю сам, – отвечает редактор. – Значит, так. Все началось с того, что в издательстве появился некий молодой человек, назвавшийся переводчиком с этого, как бишь его…

– Польского?

– Да нет, какой там польский! Редкий язык, о нем вообще мало кто слышал…

– Киммерийский?

– И не киммерийский, еще заумнее, ну, как же его? Короче, этот парень выдал себя за невероятного полиглота, знающего чуть ли не все языки мира, даже этот, ах да, кимберийский, вот, кимберийский. Он приволок книгу на этом языке, толстенный такой роман, как бишь его, «Путник», нет, «Путник» – это того, другого; «Неподалеку от хутора…»…

– Тазио Базакбала?

– Нет, не Базакбала. Он назывался «Крутой косогор», этого…

– Ахти?

– Точно, его самого, Укко Ахти.

– Но, извините, разве Укко Ахти не киммерийский писатель?

– Ну да, вначале он считался киммерийским, этот Ахти, но сами знаете, что там творилось: война, послевоенная разруха, пересмотр границ, железный занавес, в общем, теперь там, где раньше была Киммерия, находится Кимберия. Границы Киммерии были сдвинуты. В счет военной контрибуции кимберийцы присвоили себе и киммерийскую литературу.

– Такова гипотеза профессора Галлигани. Однако ее опровергает профессор Уцци-Туцци.

– Помилуйте, что вы хотите, это же университет; две враждующие кафедры, две конкурирующие школы, два профессора, на дух не переносящие друг друга; неужели вы думаете, Уцци-Туцци признает, что шедевр его литературного языка, оказывается, нужно читать на языке коллеги…

– Так или иначе, – настаиваешь ты, – «Над крутым косогором склонившись» – незавершенный роман, более того – едва начатый… Я видел оригинал…

– «Над косогором»?.. Погодите, погодите, не надо меня путать, название похожее, но не такое; там было что-то вроде «Головокружения». Да-да, «Головокружение». Вильянди.

– «Не страшась ветра и головокружения»? Разве он переведен? Вы его опубликовали?

– Постойте. Переводчик, а зовут его Гермес Марана, поначалу казался вполне порядочным человеком; и документы у него были в порядке; он подал заявку на перевод, мы включили книгу в издательский план, он вовремя представлял очередные порции текста, по сто страниц каждая, исправно получал аванс; чтобы не терять время, мы начали отдавать текст в набор… И вот, считывая гранки, корректоры стали натыкаться на явную чепуху и бессмыслицу… Вызываем Марану, задаем ему несколько вопросов – видим, он путается, юлит, противоречит самому себе… Ну мы и приперли его к стенке, открыли перед ним оригинал и потребовали перевести вслух любой кусок… Тут-то он и признался, что не знает по-кимберийски ни одного слова!

– И что же это был за перевод?

– Имена собственные он оставил по-кимберийски, то есть нет – по-киммерийски, здесь уже сам черт ногу сломит, а текст позаимствовал из другого романа…

– Какого еще романа?

– То-то и оно! Мы тоже его спрашиваем: какого романа? А он отвечает: польского романа (ага, польского!) Тазио Базакбала…

– «Неподалеку от хутора Мальборк»…

– Точно. Но и это еще не все. Так утверждал Марана. В конце концов мы ему поверили: а книга уже в печати… Все останавливаем, меняем фронтиспис, обложку… Убытки нешуточные, но делать нечего: не важно, под каким названием, не важно, кто автор, – роман-то уже есть,

переведенный, набранный, отпечатанный… С утра до вечера торчим в печатном и переплетном цехах, заменяем первые шестнадцать страниц с липовым фронтисписом на новые с новым фронтисписом… Короче говоря, вскоре вся эта неразбериха перекинулась на остальные новинки, бывшие тогда в печати… Целые тиражи пошли под нож, а распространенные экземпляры пришлось изымать из книжных магазинов…

– Я вот только одного не понимаю: о каком романе вы сейчас говорите? О том, где действие происходит на вокзале, о том, где мальчик уезжает с фермы? Или…

– Чуточку терпения. Все, о чем я вам рассказал, еще цветочки. Тем временем мы окончательно убедились, что доверять этому господину нельзя, и решили провести точное сравнение перевода с оригиналом. Что же выяснилось? Никакой это был не Базакбал, а малоизвестный бельгийский писатель Бертран Вандервельде. Перевод был сделан с французского, а называется роман… Погодите, сейчас принесу…

Каведанья уходит, а когда появляется снова, протягивает тебе папку с ксерокопиями.

– Вот. Название необычное: «Смотрит вниз, где сгущается тьма». Тут у меня начало французского текста. Вы только полюбуйтесь, какое надувательство! Гермес Марана перетолмачил этот грошовый романец слово в слово и нагло выдавал его за киммерийский, кимберийский, польский…

Ты листаешь ксерокопии и с первого взгляда понимаешь, что «Regarde en bas dans I’épaisseur des ombres» Бертрана Вандервельде не имеет ничего общего ни с одним из четырех романов, чтение которых ты вынужден был прервать. Тебе хочется немедленно предупредить Каведанью, но он уже вынимает из папки какой-то листок:

– Извольте видеть, что осмелился ответить нам Марана, после того как мы обвинили его в мистификации. Вот это письмо… – и указывает на абзац, который следует прочесть.

«Какая разница, чье имя стоит на обложке? Перенесемся мысленно на три тысячи лет вперед. Кто знает, какие книги нашего времени сохранятся тогда и каких писателей будут еще помнить. Некоторые общеизвестные книги будут считаться анонимными, каким считается для нас сегодня эпос о Гильгамеше; будут и авторы, известные каждому, но после них не останется ни одного произведения, как это

произошло с Сократом. Вполне возможно, что все сохранившиеся книги припишут одному-единственному мифическому автору, такому как Гомер».

– До чего складно рассуждает, а? – восклицает Каведанья. – Любопытнее всего то, что он может оказаться прав.

Каведанья качает головой, думая о чем-то своем, посмеиваясь и вздыхая. Мысли старого редактора ты, Читатель, наверное, можешь прочесть на его лице. Долгие годы Каведанья пестовал книгу за книгой; день-деньской на его глазах рождались и умирали десятки изданий, и все же истинными книгами он считает иные книги – те, что воспринимал когда-то как послания из иных миров. Так и авторы: он сталкивается с ними ежедневно, превосходно знает их пристрастия, предубеждения, сильные и слабые стороны; однако истинными авторами остаются в его представлении те, кто был для него лишь именем на обложке, полностью слившимся с названием книги, – авторы столь же реальные, как их герои и упомянутые в книгах страны, существовавшие и одновременно не существовавшие, как эти герои и эти страны. Автор был той невидимой точкой, из которой исходили книги, населенной призраками, пустотой, подземным туннелем, соединявшим иные миры с курятником из его детства…

Его окликают. Секунду он колеблется: забрать ксерокопии или оставить их тебе.

– Учтите, это важный документ, его нельзя выносить из издательства, подсудное дело, могут расценить как попытку плагиата. Хотите взглянуть – сядьте вот здесь, за этим столиком, и не забудьте потом вернуть, даже если я сам забуду: не дай бог, потеряется…

Ты мог бы сказать, что в этом нет особой нужды, что это не тот роман, который ты искал, но то ли потому, что тебе приглянулось начало, то ли оттого, что коллегу Каведанью, озадаченного новым поручением, уже затянуло в водоворот неотложных издательских дел, тебе не остается ничего другого, как сесть за чтение «Смотрит вниз, где сгущается тьма».

Смотрит вниз, где сгущается тьма

Я здорово попыхтел, натягивая горловину пластикового мешка: она едва доходила до шеи Жожо, а голова все равно оставалась снаружи. Конечно, можно было засунуть его головой вниз, да что проку – торчали бы ноги. Попытался согнуть ему колени; и так и сяк, пару раз даже саданул со злости – все без толку: ноги до того задеревенели, что ни в какую. Наконец получилось, ноги согнулись вместе с мешком, правда, теперь и нести стало тяжелее, и голова вылезла еще больше.

– Когда же я насовсем от тебя избавлюсь, Жожо? – приговаривал я.

Поворачивая мешок, я каждый раз натыкался на его слащавую, глуповатую рожу, тонкие, кокетливые усики, напомаженные волосы, узел галстука, выглядывающий из мешка, как из джемпера – джемпера тех лет, по моде которых Жожо продолжал одеваться. Хотя к моде тех лет Жожо, наверное, пришел с опозданием: она уже успела выйти из моды. Все дело в том, что в молодости он страсть как завидовал щеголям, одетым и причесанным на такой вот манер: от набрильянтиненных волос до черных лакированных штиблет с замшевым носком; в его представлении подобный вид отождествлялся с богатством; а когда он сам стал зашибать солидную деньгу, то слишком о себе возомнил и перестал замечать, что те, на кого он так хотел походить, выглядят теперь совсем иначе.

Брильянтин держался крепко. Даже когда я надавливал на череп Жожо, заталкивая его поглубже в мешок, шапочка волос оставалась по-прежнему шаровидной, слегка распадаясь на твердые, дугообразные полоски. Узел галстука чуть сдвинулся, и я машинально поправил его, как будто труп с перекошенным галстуком больше бросается в глаза, чем труп, облаченный подобающим образом.

– Нужен второй мешок – накрыть ему голову, – сказала Бернардетта, и я снова убедился, что девчонка не такая уж простушка и куда смышленей, чем я полагал.

Вся беда была в том, что мы не могли найти другого мешка подходящих размеров. Под рукой оказался только оранжевый кухонный пакет для мусора; голова бы в него наверняка влезла, но для

нашей цели – накрыть голову трупа, уложенного в большой пластиковый мешок, мешочком поменьше – он явно не годился.

Как ни крути, а в этом подземном гараже мы не могли оставаться долго; от Жожо следовало избавиться до рассвета. Мы и без того засветились, мотаясь с ним по городу битых два часа; он сидел как живой, третьим пассажиром в моей машине с откидным верхом. В одном месте нас чуть было не застукали двое полицейских: тихой сапой подкатили к нам на велосипедах, остановились и смотрят; а мы как раз собирались сбросить его в реку (мост Берси показался нам безлюдным). Тут мы с Бернардеттой стали хлопать Жожо по спине; весь обмякший, он безвольно уронил голову и руки через парапет. «Проблюйся как следует, mon vieux [1], может, хоть тогда прояснится в башке!» – гаркнул я, и, поддерживая Жожо за руки, мы поволокли его к машине. В этот момент обычно распирающие покойников газы с шумом вырвались наружу; оба полицейских покатились со смеху. Я подумал, что у мертвого Жожо совсем другой характер, чем у живого, вечно щепетильного и жеманного типа; вряд ли он был бы столь великодушен, чтобы прийти на помощь своим дружкам, которым светила гильотина за его убийство.

И вот мы отправились на поиски пластикового мешка и канистры бензина. Теперь нужно было подыскать укромное местечко. Кто бы мог подумать, но даже в таком городе, как Париж, часами можно искать место, где бы сжечь труп. «А разве в Фонтенбло нет больше леса?» – спрашиваю я у Бернардетты, которая садится рядом. Мы трогаемся. «Ты же знаешь Париж как свои пять пальцев, вот и покажи дорогу». Я надеялся, что, когда забрезжит сероватый рассвет, мы вернемся в город в веренице грузовиков с овощами и зеленью, а от Жожо останется жалкая кучка зловонного пепла на парковой лужайке; отличная возможность, твердил я себе, поставить крест на собственном прошлом, забыть о нем навсегда, словно его и не было.

Сколько раз, когда прошлое начинало тяготить душу и слишком многие полагали, что имеют у меня открытый кредит, материальный и моральный, как полагали в Макао родители девушек из «Нефритового сада» – хуже назойливой китайской родни не придумаешь, – хотя, нанимая девушек, я все обговаривал и с ними, и с их родителями и платил наличными, лишь бы они не маячили у меня перед глазами, эти мамаши и папаши, худющие, как щепки, в белых носках, с плетеной

корзиной, воняющей рыбой, и с неизменно диковатым видом, как будто они приехали из Тмутаракани, меж тем как на самом деле жили в портовом квартале, – в общем, сколько раз, когда прошлое становилось невмоготу, меня охватывало непреодолимое желание обрубить все концы: поменять ремесло, жену, город, континент – один за другим, пока не обойду весь свет, – привычки, друзей, дела, клиентов. В этом-то и состояла главная моя ошибка. Когда я это понял, было поздно.

Ведь так я лишь накапливал одно прошлое за другим; накапливал и приумножал. И если одна жизнь казалась мне чересчур насыщенной, разветвленной и запутанной, чтобы постоянно таскать ее за собой, что же тогда говорить о нескольких жизнях, каждая из которых имела свое прошлое; и о прошлом других жизней, продолжавших наслаиваться друг на друга. Начиная жизнь заново, я знай себе приговаривал: ну все, спидометр по нулям, стираю с доски. Но стоило мне приехать на новое место, как уже на следующий день мои нули превращались в многозначное число, которое не помещалось на счетчике и занимало всю доску вдоль и поперек: то были имена людей, названия мест, перечни ошибок и промахов, – все, к чему я питал пристрастие и неприязнь. Как той ночью, когда мы искали подходящее местечко, чтобы спалить Жожо; бессонные фары рыскали в темноте, выхватывая стволы деревьев, скользя по морщинистым скалам. Показав на щиток, Бернардетта съязвила: «Послушай, только не говори, что в баке нет бензина». Точно: в этой суматохе я и не подумал заправиться. Теперь мы запросто могли застрять на полдороге – бензоколонки-то давно закрыты. Хорошо еще, что не успели подпалить Жожо, а то, чего доброго, заглохли бы неподалеку от костра – и бежать не имеет смысла: такую машину, как моя, разве бросишь, по ней нас мигом вычислят. Короче, пришлось залить в бак канистру бензина, которым мы решили оросить голубой костюм Жожо и его шелковую сорочку с инициалами, и рвать когти обратно в город, прикидывая по пути, куда бы его сбагрить.

А я знай приговариваю: и не в такие переплеты попадали; ничего, живы будем – не помрем. Прошлое – что безразмерный солитер, свернувшийся где-то внутри меня. И не убывает от него, как ни тужься исторгнуть из себя невыносимые потроха и облегчиться во всех мыслимых клозетах: сидячих или стоячих, в тюремную парашу или в

больничное судно, в отхожую яму палаточного лагеря или просто под кустиком, убедившись вначале, что оттуда не метнется змея, как тогда, в Венесуэле. Прошлого не перелицевать, как не изменить имени; сколько паспортов я поменял, сколько разных имен перепробовал – иные сейчас уж и не припомню, – но везде меня называли одинаково – Швейцарец Руди; куда бы я ни приезжал, как бы ни представлялся, обязательно находились люди, знавшие, кто я и что, хоть с годами я сильно изменился, особенно с тех пор, как башка облысела и пожелтела, как грейпфрут; а случилось это после эпидемии тифа на борту «Stjärna», когда из-за нашего груза мы не только не могли подойти к берегу, но и запросить помощи по рации.

В общем, все истории сводятся к тому, что прожитая жизнь у каждого одна-единственная, однообразно-плотная, как байковое одеяло, в котором не разнять сплетающие его нити. И если иногда в один из неприметных дней вдруг останавливаешься на каком-нибудь неприметном случае, как, например, на встрече с цейлонцем, предлагавшим мне крокодилий выводок в цинковой ванночке, я ни на секунду не сомневаюсь, что и за этим незначительным, рядовым событием кроется все прожитое до сего дня, мое прошлое, мои многочисленные жизни, которые я напрасно пытался оставить далеко позади, жизни, сливающиеся в конечном итоге в одну всеобщую жизнь; моя жизнь, продолжающаяся и в этом месте, откуда я решил никуда больше не трогаться, в этом домике с зеленым участком в пригороде Парижа, где я развожу тропических рыб – тихое дело, предрасполагающее к размеренному, как никогда прежде, образу жизни, поскольку рыбок нельзя бросить без присмотра ни на сутки, а что до женщин, то в моем возрасте мужчина вправе и не впутываться в новые дрязги.

Бернардетта не в счет – тут совсем другой расклад. С ней мы обстряпали это дельце без сучка без задоринки. Как только я пронюхал, что Жожо снова в Париже и сел мне на хвост, я, не долго думая, сам сел ему на хвост и скоро вышел на Бернардетту; мне удалось переманить ее на свою сторону, и вдвоем мы все спроворили, да так, что он и не чухнулся. В нужный момент я раздвинул шторы, и первое, что я увидел – спустя столько лет после того, как мы потеряли друг друга из виду, – был его толстый волосатый зад, сновавший между ее белых ляжек; затем – аккуратно причесанный затылок,

уткнувшийся в подушку рядом с ее бледноватым лицом, отодвигающимся наискосок, чтобы позволить мне спокойно нанести удар. Все было кончено в два счета; он даже не успел обернуться и узнать меня; узнать, кто это испортил ему всю обедню; возможно, он и не почувствовал, как перешел границу, разделяющую ад живых и ад мертвых.

Оно и лучше, что я заглянул ему в лицо уже после его смерти. «Игра окончена, старый ублюдок», – проговорил я чуть ли не ласково, пока Бернардетта одевала его как живого, не забыв и о паре черных лакированных штиблет с замшевыми носками, ведь нам предстояло вывести Жожо на улицу, делая вид, будто он нализался до бесчувствия. Мне вспомнилась наша первая встреча, тогда, много лет назад, в Чикаго, в лавке старухи Миконикос; меня еще провели в подсобную комнатушку, заваленную бюстами Сократа; тут-то я и смекнул, что мой барыш со страховки от поджога я вложил в его ржавые игровые автоматы и что на пару с этой хрычовкой, паралитичкой и нимфоманкой он крутил и вертел мною как вздумается. Накануне я прогуливался по дюнам, смотрел на замерзшее озеро, вдыхал свободу. Такого со мной давно не случалось. И вот, всего за сутки, пространство вокруг меня снова стало сжиматься; теперь все решалось в какой-то вонючей городской трущобе между греческим и польским кварталами. В моей жизни было много крутых поворотов, но именно с того дня я продолжаю сводить с ним счеты; именно с того дня счет моих поражений продолжал непрерывно расти. Даже сейчас, когда трупный душок начинает пробиваться сквозь запах его дрянного одеколона, я сознаю, что наша игра еще не закончена, что мертвый Жожо может снова погубить меня, как не раз губил при жизни.

Выхватывая из памяти целый пучок историй, я намеренно хочу приправить мой рассказ другими историями, которые мог бы рассказать и, наверное, расскажу, а может, когда-то уже рассказывал; я хочу создать космос, заполненный историями; они – не что иное, как время моей жизни; здесь можно двигаться в любом направлении, как в космосе, открывая для себя все новые истории; прежде чем их рассказать, желательно рассказать другие; поэтому с какого бы мгновения или места мы ни начали, повсюду мы встретим одинаково плотное повествование. Более того, когда я всматриваюсь в то, что осталось за рамками основного повествования, я вижу необъятную

пущу, настолько густую, что она не пропускает даже свет; этот повествовательный материал куда богаче, чем выдвинутый мной на первый план сейчас; и не исключено, что следящий за моим рассказом несколько разочаруется, убедившись, что основное его русло разветвляется на множество мелких протоков, а вместо главных фактов до него долетают лишь слабые их отголоски; не исключено и то, что именно такого эффекта я и добивался, принимаясь за этот рассказ; или что это особый повествовательный прием, который я пытаюсь применить, или проявление сдержанности, выражающейся в том, что я слегка преуменьшаю мои подлинные возможности рассказчика.

Что, если хорошенько приглядеться, есть признак настоящего, несметного богатства; скажем, будь в моем распоряжении только одна история, я бы стал расписывать ее и так и эдак и в конце концов все бы загубил, стараясь всеми правдами и неправдами выставить ее в наиболее выгодном свете; между тем, обладая, по сути, неисчерпаемым повествовательным запасом, я в состоянии подать мою историю спокойно и беспристрастно, вызывая порой некоторое раздражение и позволяя себе роскошь отвлекаться на второстепенные эпизоды, вдаваться в незначительные подробности.

Стоит скрипнуть калитке – в это время я нахожусь в сарайчике с ваннами в глубине сада, – как я спрашиваю себя, из которого прошлого пожаловал очередной гость, отыскавший меня даже здесь; возможно, это всего лишь прошлое вчерашнего дня, прошлое этого же пригорода – приземистый метельщик-араб: в октябре он начинает ходить по домам, раздавая новогодние открытки и прося подаяние; по его словам, весь декабрьский сбор прикарманивают дружки, ему-де не перепадает ни гроша, – или более далекое прошлое, преследующее старого Руди за калиткой пригородного тупика: контрабандисты из кантона Валлезе, наемники из Катанги, крупье из казино Варадеро времен Фульхенсио Батисты.

Бернардетта не имела ничего общего ни с одним из моих прошлых. Она и не подозревала о старых счетах между мной и Жожо, вынудивших устранить его таким немилосердным образом. Скорей всего, она думала, что я пошел на это ради нее, после того как она поведала мне о жизни, на которую он ее обрек. Ну и, конечно, ради денег, и немалых, хоть я еще не был уверен, что они у меня в кармане. Короче, нас сближали общие интересы. Бернардетта из тех, кто все

схватывает на лету: или мы вместе выпутываемся из этой передряги, или вместе пропадаем ни за понюх табаку. Нечего и говорить, что у Бернардетты были совсем другие планы: когда такая девушка, как она, хочет чего-то добиться в этой жизни, она должна подыскать себе родственную душу; коль скоро она попросила избавить ее от Жожо, значит, решила поставить меня на его место. На моем веку таких случаев было хоть отбавляй; и ни один не кончался добром. Поэтому я отошел от дел с твердым намерением ни за что больше к ним не возвращаться.

Так вот когда мы собирались начать наши ночные похождения и пристроили Жожо, одетого с иголочки, на заднее сиденье моей машины с открытым верхом, а она уселась впереди, рядом со мной, и подпирала его, вытянув руку назад; когда я собирался завести мотор и тронуться, она перекинула левую ногу через рычаг переключения передач и водрузила ее на мою правую ногу. «Бернардетта! – вскрикнул я. – Ты что? Нашла время!» Она объяснила, что я выскочил из-за штор крайне не вовремя и прервал ее тогда, когда прерывать вообще-то нельзя; так что теперь – не важно, с тем или с другим – она должна возобновить все именно с того момента и дойти до самого конца. По ходу своего объяснения Бернардетта придерживала одной рукой мертвеца, а другой расстегивала мне брюки. Так, втроем, мы скрючились в моей тесной машине на общественной стоянке в Фобур Сент-Антуан. Раскорячив свои – скажу откровенно – стройненькие ножки, она оседлала мои колени и накрыла меня, едва не задушив, мягкой лавиной пышных грудей. Жожо то и дело заваливался на нас, но Бернардетта внимательно следила за тем, чтобы его отстранять; ее личико оказывалось в нескольких сантиметрах от лица покойника, смотревшего на девушку слепыми белками вытаращенных глаз. Что до меня, то я был застигнут врасплох; физическая реакция шла сама по себе, гораздо охотнее подчиняясь ей, чем моей перепуганной душе; я мог даже не двигаться – она все делала сама; в это мгновение я понял, что это был некий обряд, которому она придавала особое значение, обряд на глазах у мертвеца; я почувствовал, что мягкий, цепкий зажим становится все туже и мне из него уже не вырваться.

Ошибаешься, детка, так и хотелось ей сказать. Этот покойник упокоился не от того, от чего ты думаешь. Тут совсем другая история, и она еще не закончена. Так и хотелось ей сказать, что в этой еще не

законченной истории между мной и Жожо стояла другая женщина. Перескакивая от одной истории к другой, я в действительности хожу вокруг да около той самой истории, пытаюсь убежать от нее, словно в первый день моего бегства, когда я узнал, что эта женщина и Жожо сговорились меня убрать. Рано или поздно я расскажу и об этом, но как-нибудь невзначай, при случае, просто потому, что мне нравится вспоминать и рассказывать, ведь иногда, даже вспоминая о плохом, можно получать удовольствие, если это плохое перемешано не то чтобы с хорошим, но с разным, переменчивым, живым, с тем, что можно назвать и хорошим, то есть опять же удовольствием от возможности увидеть некоторые события на расстоянии и рассказать о них как о чем-то давно прошедшем.

– Вот погоди, сладим это дельце – будет о чем вспомнить, – заметил я Бернардетте, втаскивая в лифт пластиковый мешок, в котором покоился Жожо. Мы задумали сбросить его с последнего этажа в узенький дворик; когда назавтра труп найдут, то решат, что это или самоубийца, или вор, сорвавшийся с крыши во время ограбления. А если в лифт войдут и увидят нас с мешком? Скажу, что выносил мусор. Тем более что уже начало светать.

– Ну ты и ушлый, – проронила Бернардетта.

Будешь тут ушлым – так и хотелось ответить – после того, как столько лет спасал шкуру, скрываясь от банды Жожо; а у него свои люди во всех крупных перевалочных центрах. Но тогда пришлось бы выкладывать всю подноготную: и про Жожо, и про его сообщницу, и про то, как они требовали от меня барыш, ускользнувший якобы по моей вине; и про то, как они постоянно меня шантажировали, накинув мне на шею такую удавку, что теперь вот я вынужден ночь напролет ломать голову, куда бы пристроить старого корешка в пластиковом мешке.

Сдается, что и с цейлонцем дело было нечисто.

«Крокодилов не беру, дорогой, – сказал я ему. – Ступай в зоопарк, у меня другой товар. Я поставщик центральных магазинов: домашние аквариумы, экзотические рыбы, самое большее – черепахи. Иногда спрашивают игуан, но я их не держу – слишком много возни».

Парень лет восемнадцати стоял как истукан. Тонкие ресницы и усики чернели на его апельсиновых щеках, точно перышки.

– Скажи на милость, а кто тебя прислал? – спрашиваю. Коли запахло Юго-Восточной Азией – держи ухо востро. Уж я-то знаю.

– Мадемуазель Сибилла, – признался он.

– Какое отношение имеет моя дочь к крокодилам? – восклицаю я. Ладно, у нее давно своя жизнь, но всякий раз, когда я слышу о ней, мне становится не по себе. При мысли о детях я почему-то всегда испытываю угрызения совести.

Короче, я узнаю, что в каком-то заведении на площади Клиши у Сибиллы номер с кайманами. Все это мне до того не понравилось, что я не стал дальше расспрашивать. Я слышал, что она подрабатывает в ночных заведениях, но выходить на публику с крокодилом – это уже перебор. Такого будущего для единственной дочери не пожелает ни один отец, по крайней мере такой, как я, – из протестантской семьи.

– И как называется эта забегаловка? – процеживаю я, посинев от злости. – Так и тянет туда заглянуть.

Он протягивает рекламный проспектик. На спине у меня выступает холодный пот: название «Новая Титания» кажется знакомым, чересчур знакомым, хотя эти воспоминания и относятся к другой части света.

– И кто там заправляет? – спрашиваю. – Ну да, директор, хозяин, короче!

– Так вы о мадам Татареску… – И он поднимает цинковую посудину, собираясь унести выводок.

Я тупо уставился на бурлящее месиво зеленых чешуек, лапок, хвостов, распахнутых пастей, как будто меня оглоушили – в ушах стоял сплошной гул вперемешку с неясным жужжанием и потусторонним трубным звуком, – и все это оттого, что я услышал имя той женщины; когда-то я сумел уберечь Сибиллу от ее губительного влияния и долго заметал наши следы, пересек два океана, наладил для нас с дочкой спокойную, размеренную жизнь. Все впустую: Влада добралась-таки до своей дочери; она использует Сибиллу как приманку; теперь я снова у нее в руках. Только она способна пробуждать во мне яростную неприязнь и одновременно смутное влечение. А вот и первая ласточка от нее – кишащий рептилиями садок. Она как бы напоминает, что зло остается ее единственной средой обитания; что мир – это наполненный крокодилами колодец, из которого мне никогда не выбраться.

Именно таким увиделось мне с высоты последнего этажа узкое дно двора-колодца. Небо уже светлело, но внизу еще пучился липкий мрак. Я с трудом различал расплывчатое пятно, в которое превратился Жожо, взмахнув в пустоте, как крыльями, полами пиджака и размозжив себе все кости с глухим, почти ружейным хлопком.

Пластиковый мешок остался у меня. Мы могли бы бросить его здесь же, но Бернардетта опасалась, что улику найдут и легко восстановят истинный ход событий. Так что надежнее было забрать мешок и потом уничтожить.

На первом этаже перед раскрывшимися дверями лифта нас поджидали трое. Руки они держали в карманах.

– Привет, Бернардетта.

– Привет.

Мне не понравилось, что Бернардетта их знает. К тому же в манере одеваться, хотя и более сдержанной, чем у Жожо, у них было нечто общее.

– Чего там у тебя в мешке? А ну покажи, – проговорил самый здоровый.

– Смотри. Тут пусто, – отвечаю я невозмутимо.

Он запускает руку в мешок.

– А это что? – И вынимает черный лакированный штиблет с замшевым носком.

Глава шестая

На этом ксерокопированные страницы кончаются. Однако главное для тебя сейчас – продолжить чтение. Ведь где-то же должен быть полный текст. Твой взгляд скользит по сторонам в поисках желанного томика; но скоро ты отчаиваешься: в этой комнатушке книги напоминают полуфабрикаты, запчасти; отработанные или ждущие своего часа шестеренки. Теперь ты понимаешь, почему Людмила отказалась идти в издательство; ты начинаешь побаиваться, что тоже оказался «по ту сторону границы» и лишился привилегированного права воспринимать написанное как нечто завершенное, окончательное, от которого не отнять и к которому не прибавить. Впрочем, тебя утешает то, что Каведанья, находясь «по ту сторону», продолжает верить в возможность наивного чтения.

А вот и сам пожилой редактор – показался за стеклянными перегородками. Схвати его за рукав, скажи, что хочешь дочитать «Смотрит вниз, где сгущается тьма».

– Кто его знает, куда он подевался… Все бумаги из дела Мараны как испарились. Пропали машинописные страницы, пропали оригиналы: кимберийский, польский, французский. Пропал и он сам. Постепенно исчезло все.

– Неужели от него не было никаких вестей?

– Нет, он нам писал… Мы получили кучу писем… В них такого наворочено, поди разберись, где правда, а где вымысел… Я даже не берусь о них говорить, боюсь окончательно запутаться. Весь этот ворох читать – не перечитать.

– А можно взглянуть?

Видя такую настойчивость, Каведанья соглашается дать тебе из архива досье на доктора Гермеса Марану.

– У вас есть немного времени? Прекрасно, тогда садитесь вот здесь и читайте. Потом скажете свое мнение. Может, хоть вы что-нибудь в этом поймете.

У Мараны всегда находился конкретный повод для письма. То он оправдывает очередную задержку перевода, то просит поскорее выдать

аванс, то сообщает о зарубежных издательских новинках, которые нельзя обойти вниманием. Однако среди обычных тем деловой переписки постоянно проскальзывают намеки на некие интриги, заговоры, тайны. Объясняя эти намеки или причину, почему он не хочет сказать больше, чем говорит, Марана пускается в еще более лихорадочные и путаные рассуждения.

Письма направлены из разных мест, разбросанных по всем пяти континентам. Правда, отправлялись они, видно, не почтой, а с оказией и попадали в почтовый ящик в разных местах, поэтому марки на конвертах не соответствуют пункту отправления. Разобраться в последовательности писем тоже непросто: попадаются письма, в которых есть ссылка на предыдущие послания, а они, как выясняется, написаны позже; встречаются письма, в которых автор обещает дать необходимые уточнения, а мы находим их в письмах, датированных неделей раньше.

«Серро Негро – Черный холм» – так, по-видимому, называется затерянная деревушка в Южной Америке, откуда отправлены последние письма Мараны; но где она точно находится – высоко ли в Кордильерах или в бескрайних лесах Ориноко, – из противоречивых описаний местности понять невозможно. Перед тобой вроде обычное деловое письмо, но как, черт побери, сюда занесло издательство, выпускающее книги на киммерийском языке? И как вообще это издательство – якобы предназначенное для узкого круга киммерийских эмигрантов в обеих Америках – может выпускать переводы на киммерийский *последних новинок* самых известных в мире писателей, обладая к тому же *исключительным правом* на их произведения во всем мире, да еще и на языке оригинала? Сам Гермес Марана, являющийся, судя по всему, их менеджером, предлагает Каведанье опцион на новый, долгожданный роман популярного ирландского писателя Сайласа Флэннери «В сети перекрещенных линий».

Еще одно письмо, снова из Серро Негро, написано в стиле вдохновенного заклинания. Как будто это местное поверье о старом индейце по прозвищу Сказитель – долгожителе, давно потерявшем счет своим годам, слепом и неграмотном рассказчике бесконечных историй, происходящих в отдаленные времена и в совершенно неведомых ему странах. Взглянуть на чудо природы приезжали

экспедиции антропологов и парапсихологов. В результате проведенной экспертизы выяснилось, что многие из опубликованных произведений всемирно известных авторов были слово в слово пересказаны хриплым голосом Сказителя за несколько лет до их издания. Одни утверждают, что старый индеец есть не что иное, как универсальный источник повествовательной материи, первичная магма, из которой расходятся индивидуальные вдохновения каждого писателя; другие считают его ясновидящим, который употребляет в пищу галлюциногенные грибы и таким образом проникает во внутренний мир самых сильных духовидческих натур, улавливая их психические волны; третьи полагают, что это реинкарнация Гомера, автора «Тысячи и одной ночи», создателя индейского эпоса «Пополь-Вух», а также Александра Дюма и Джеймса Джойса; им возражают, говоря, что Гомер не нуждается в переселении душ, поскольку никогда не умирал, а продолжает жить и творить на протяжении тысячелетий, ибо, помимо обычно приписываемых ему двух поэм, является автором большинства самых известных дошедших до нас произведений. Гермес Марана пристраивает магнитофон у входа в пещеру, где скрывается старец…

Судя по предыдущему письму – на этот раз из Нью-Йорка, – происхождение неизданного романа, предложенного Мараной, совсем иное:

«Представительство OEPHLW, как указано на официальном бланке, расположено в старом квартале Уолл-стрит. С тех пор как деловой мир покинул эти помпезные здания, их парадно-церковный фасад, унаследованный от английских банков, приобрел небывало зловещий вид. Нажимаю на кнопку входного переговорного устройства: “Это Гермес. Я принес первые главы романа Флэннери”. Они ждут меня давно – после моей телеграммы из Швейцарии; я сообщал, что сумел уговорить престарелого автора триллеров отдать мне начало забуксовавшего романа; наши компьютерщики легко доведут его до конца, используя специальные программы по всеобъемлющей разработке текста в строгом соответствии со стилистическими особенностями и замыслом автора».

Доставить текст Флэннери в Нью-Йорк оказалось не так просто. По словам Мараны, он вез его из одной африканской столицы. В пути,

разумеется, не обошлось без приключений:

«…Курчавый крем из облаков окутал наш самолет, а заодно и меня, уткнувшегося в неизданный роман Сайласа Флэннери “В сети перекрещенных линий”. За этой бесценной рукописью охотятся все крупные издательства, я же ухитрился благополучно выудить ее у автора. В этот момент на дужку моих очков опускается дуло короткоствольного автомата.

Группа вооруженных молодчиков захватила самолет. Запах пота тошнотворен: быстро понимаю, что главная цель налета – овладеть моей рукописью. Это парни из АРО, сомнений быть не может; вот только бойцов последнего набора я совсем не знаю; мрачные, небритые лица и грубоватые замашки пока не позволяют определить, к какому крылу движения они примыкают.

…Не стану расписывать Вам подробно все злоключения нашего самолета, перелетавшего от одной контрольной башни к другой, так как ни один аэропорт не согласился нас принять. Наконец президент Бутаматари, диктатор с гуманистическими наклонностями, разрешил изнуренному самолету сесть на ухабистую посадочную полосу своего затерянного где-то в саванне личного аэродрома. Президент взял на себя роль посредника между группой экстремистов и перепуганными консульствами ведущих держав. Для нас, заложников, томящихся под цинковой крышей в пыльной пустыне, дни тянутся вяло и однообразно. Пушисто-сизые стервятники выклевывают из земли дождевых червей».

То, что между Мараной и налетчиками из АРО существует связь, становится ясно по тому, как он отчитывает их, едва они остаются с глазу на глаз:

«– Возвращайтесь-ка подобру-поздорову домой, голубчики, и передайте вашему патрону, чтобы в следующий раз посылал на задание кого-нибудь поопытнее, если хочет обновить свою биографию…

Они оторопело вылупились на меня, словно грабители, пойманные с поличным. Эта секта, провозгласившая своим культом тайные письмена и разыскивающая их по всему свету, попала в руки сосунков, имеющих крайне смутное представление о собственной миссии.

– Ты кто такой? – спрашивают они.

Услыхав мое имя, храбрецы цепенеют. Эти новички не могли знать меня лично и слышали обо мне только клевету, распространенную после моего исключения из Организации: двойной, а то и тройной агент, завербованный неизвестно кем и неизвестно зачем. Никто не знает, что созданная мной Организация Апокрифической Власти имела смысл до тех пор, пока мой предшественник не давал ей подпасть под влияние сомнительных гуру.

– Ты принял нас за боевиков из Wing of Light [2], признайся… – говорят они. – Так знай, мы из Wing of Shadow [3], и не купимся на твои уловки!

Именно это я и хотел узнать. Я лишь пожал плечами и усмехнулся. Будь то Wing of Light или Wing of Shadow – для тех и для других я предатель, которого следует убрать; но здесь они ничего не могут мне сделать, поскольку президент Бутаматари, обещавший предоставить им политическое убежище, взял меня под свое покровительство…»

Зачем все-таки боевикам из АРО понадобилась эта рукопись? Ты листаешь переписку в поисках ответа, но повсюду натыкаешься на марановское самохвальство. Он считает исключительно своей заслугой достижение дипломатического соглашения, по которому после разоружения террористов и получения от них рукописи Флэннери Бутаматари обязуется вернуть ее автору; взамен Флэннери должен написать роман о династии Бутаматари, где доказывалась бы правомочность императорской коронации диктатора, а заодно и его притязаний на соседние территории.

«Предложил формулу соглашения и вел переговоры я. С того момента как я назвался представителем рекламного агентства “Меркурий и Музы”, специализирующегося на литературных и философских произведениях, дело приняло нужный оборот. Теперь, когда я завоевал доверие африканского диктатора и оправдал доверие ирландского писателя (тайно унеся его рукопись, я уберег ее от поползновений различных нелегальных организаций), мне было нетрудно подвигнуть обе стороны на сближение ко взаимной выгоде…»

По предыдущему письму, отправленному из Лихтенштейна, можно восстановить всю подноготную отношений между Флэннери и Мараной: «Вы не должны верить всяческим домыслам,

утверждающим, будто в этом альпийском княжестве находится главная контора акционерного общества, которое владеет издательскими правами на произведения Флэннери и подписывает договоры от имени плодовитого автора бестселлеров; что же касается последнего, то никому не ведомо, где он, да и существует ли вообще. Должен признать, что мои первые встречи с секретарями, адвокатами и литературными агентами, отсылавшими меня друг к другу, казалось, подтверждали Ваши опасения… Акционерное общество, снимающее обильный урожай с необозримой словесной нивы ужасов, убийств и совокуплений, явленных нам престарелым писателем, работает под стать преуспевающему коммерческому банку. Однако царившие в нем растерянность и тревога вызывали ощущение близкого краха…

Причины выяснились довольно быстро: вот уже несколько месяцев Флэннери пребывает в полном бездействии; за это время он не написал ни строчки; начатые им романы, за которые он получил авансы от многочисленных издательств в счет международных банковских кредитов, романы, для которых уже оговорены отдельными контрактами со специализированными рекламными агентствами марки ликеров, предпочитаемых героями, названия курортов, фасоны одежды, мебельные гарнитуры, технические новинки и прочее, – все эти романы приостановлены в результате неожиданной и необъяснимой душевной депрессии их автора. Команда писателей-двойников, наловчившихся подражать стилю маэстро вплоть до тончайших нюансов, готова в любой момент взяться за дело и залатать прорехи – отточить и дописать незаконченные тексты; тогда даже самый дотошный читатель не сможет отличить копию от оригинала… (Видать, они изрядно потрудились в последних вещах нашего автора.) Правда, Флэннери просит всех подождать, продлить сроки договоров, объявляет об изменении планов, обещает засесть за работу в ближайшее время, отказывается от помощи. Ходят мрачные слухи, будто писатель завел дневник, своего рода тетрадь размышлений; в нем нет никакого сюжета – лишь его душевное состояние да описание природы, которую он часами созерцает в подзорную трубу со своего балкона…»

Более радужным выглядит послание, направленное несколько дней спустя из Швейцарии: «Возьмите себе на заметку: Гермесу Маране удается то, чего не удается никому! Мне удалось переговорить лично с

Флэннери. Разговор состоялся на террасе его горного домика; он поливал растущие в горшках циннии. Очень аккуратный, тихий старичок, весьма любезный, пока на него не находит очередной нервный приступ… Мог бы сообщить о нем немало ценных сведений для Вашего издательства и непременно сделаю это, как только получу подтверждение Вашей заинтересованности по телексу на мой текущий счет в банке таком-то № …»

Из переписки не совсем ясно, зачем Маране понадобилось встречаться со старым писателем; вероятно, он выдал себя за представителя Нью-Йоркского отделения OEPHLW (Организация электронного производства гомогенизированных литературных произведений) и предложил Флэннери техническое содействие для завершения романа (Флэннери побледнел, весь затрясся, прижал к груди рукопись. «Нет, нет, только не это, – бормотал он. – Этого я не допущу…»); возможно, пришел защищать интересы бельгийского писателя Бертрана Вандервельде: Флэннери беззастенчиво воспользовался его романом… Если же вернуться к просьбе Мараны, изложенной в письме к Каведанье, устроить ему встречу с неуловимым писателем, то речь, по-видимому, шла о предложении перенести кульминационные сцены его нового романа «В сети перекрещенных линий» на остров в Индийском океане, «протянувшийся охряными пляжами вдоль кобальтового побережья». Предложение исходило от миланского инвестиционного фонда недвижимости в преддверии грядущей распродажи острова вместе с поселком бунгало, возможно, в рассрочку и по безналичному расчету.

В этом фонде Марана, похоже, занимается «вопросами развития развивающихся стран», уделяя особое внимание революционным движениям до и после их прихода к власти, чтобы заручиться лицензиями на строительство при любом режиме. В этой роли Марана впервые выступил в одном из султанатов Персидского залива, где вел переговоры о подряде на строительство высотного здания. Неожиданный случай, связанный с его ремеслом переводчика, открыл перед Мараной двери, обычно наглухо закрытые для европейцев… Последняя жена Султана – наша соотечественница, женщина неугомонная и впечатлительная – страдает от обособленной жизни, вызванной географическим положением ее новой родины, а также

местными обычаями и дворцовым этикетом; единственное, что ее поддерживает, – это ненасытная страсть к чтению…

Когда молодая Султанша вынуждена была прервать чтение романа «Смотрит вниз, где сгущается тьма» (из-за того, что ей попался бракованный экземпляр книги), она направила переводчику гневное письмо. Марана спешно выехал в Аравию.

«…Старуха с полузакрытым лицом и гноящимися глазами знаком пригласила меня следовать за ней. В оранжерее произрастали бергамотовые деревья, разгуливали диковинные птицы-лиры, журчали струйки фонтана; навстречу мне вышла она – в бирюзовом одеянии, зеленой шелковой вуали в золотую крапинку, с берилловой ниткой на лбу…»

Тебе хочется узнать побольше об этой Султанше. Ты нетерпеливо пробегаешь глазами тонкие, воздушные листки писем, точно ждешь, что она вот-вот появится… Впрочем, Марана и сам как будто исписывает страницу за страницей, движимый схожим желанием; он преследует ее, а она все прячется, убегает… От письма к письму сюжет запутывается: Марана пишет Каведанье из «роскошной резиденции на краю пустыни», оправдывая свое неожиданное исчезновение тем, что посланники Султана силой (а может, соблазнительным контрактом?) заставили его перебраться сюда, чтобы он без помех доделал начатую работу… Супруга Султана не должна ни на минуту лишаться любимого чтения – таково условие брачного договора, выдвинутое невестой своему августейшему жениху до свадьбы… После безмятежного медового месяца, когда юная государыня регулярно получала издательские новинки из разных стран на языках оригинала, которыми она свободно владеет, положение заметно ухудшилось… В последнее время Султан, похоже не без оснований, опасается революционного заговора. Его секретные службы обнаружили, что заговорщики получают шифровки в книгах, вышедших на нашем языке. Султан издал указ о запрете на ввоз в страну и повсеместном изъятии западных книг. Была приостановлена и доставка книг в личную библиотеку супруги. Природная подозрительность, подкрепленная, надо полагать, неоспоримыми доказательствами, наводит Султана на мысль, что его жена – сообщница революционеров. Однако невыполнение известного

условия брачного договора может привести к разрыву, чреватому для царствующей династии огромными издержками. Именно этим, во всяком случае, пригрозила ему госпожа в приступе гнева, после того как охрана вырвала у нее из рук едва начатый роман Бертрана Вандервельде…

Именно тогда агенты Султана, разведав, что Гермес Марана переводит этот роман на родной язык госпожи, склонили его с помощью разного рода убедительных доводов переехать в Аравию. И вот каждый вечер Султанша получает условленную порцию романа, но уже не в оригинальном издании, а из рук переводчика, только-только отпечатавшего текст на машинке. Если тайное послание и было зашифровано в порядке слов или отдельных буквах оригинала, теперь шифра не восстановить…

«Султан пригласил меня, чтобы узнать, много ли еще осталось переводить до конца книги. Я понял, что, имея достаточно оснований подозревать политическую и супружескую измену, пуще всего он боится спада напряжения, который неминуемо произойдет по окончании романа; ибо перед тем, как раскрыть новую книгу, его супруга опять взбунтуется против своего подневольного положения. Султану известно, что заговорщики ждут от нее знака к началу мятежа; известно ему и то, что Султанша велела не тревожить ее, пока она читает, даже если султанский дворец взлетит на воздух… У меня тоже есть причины бояться этого момента, ведь я могу лишиться всех привилегий при дворе…»

Поэтому Марана предлагает Султану пойти на хитрость в духе литературных традиций Востока: он прервет перевод на самом интересном месте и начнет переводить другой роман, введя его в первый с помощью какого-нибудь незамысловатого приема, ну, скажем, такого: персонаж первого романа открывает книгу и принимается за чтение… Второй роман тоже прервется и уступит место третьему; тот, в свою очередь, не замедлит смениться на четвертый и так далее…

Разноречивые чувства охватывают тебя, пока ты просматриваешь эти письма. Ты уже предвкушал возобновить чтение, как вдруг благодаря вмешательству извне книга снова обрывается… Гермес Марана представляется тебе неким змием-искусителем, запускающим ядовитое жало в райские кущи чтения… На месте вещего индейца,

глаголющего бессмертные романы всех времен и народов, оказывается роман-ловушка, измысленный коварным переводчиком и состоящий из одних зависших в воздухе зачинов… Точно так же завис в воздухе и мятеж; пока заговорщики напрасно пытаются снестись со своей державной сообщницей, время неподвижно довлеет над плоскими берегами Аравии… Ты читаешь или мечтаешь? Неужели на тебя так действуют все эти графоманские небылицы в лицах? Ты тоже грезишь о нефтяной Султанше? И завидуешь жребию перевиральщиков романов в аравийских сералях? Ты хотел бы быть на его месте, установить эту необычайную связь, ощутить сопричастность внутренних ритмов через книгу, читаемую одновременно двумя людьми, возможно, тобой и Людмилой? Ты непроизвольно приписываешь безликой читательнице, вызванной к жизни заклинаниями Мараны, знакомый тебе облик Читательницы; ты уже видишь Людмилу, возлежащую на боку за сеткой от мошкары: прядь ее волос упала на страницу; стоит сезон томительных муссонов; дворцовые заговорщики, затаясь, оттачивают вероломные планы; она же отдалась во власть чтения, как единственно возможного жизненного акта в мире, где нет ничего, кроме раскаленного песка на маслянистом битуме да смертельной опасности во имя интересов государства в борьбе за обладание источниками энергии…

Ты перебираешь письма, надеясь найти новые сведения о Султанше… Перед твоим мысленным взором проходят другие женские образы.

Остров в Индийском океане; купальщица, «облаченная в солнечные очки и слой орехового масла, прикрылась от палящих лучей тропического солнца утлым щитом из модного нью-йоркского журнала». В этом номере, предваряя выход книги, опубликовано начало нового триллера Сайласа Флэннери. Марана поясняет ей: журнальная публикация первой главы означает, что ирландский писатель готов заключить контракты с заинтересованными фирмами об использовании в романе оговоренных сортов виски или шампанского, марок автомобилей, курортных мест. «Сумма рекламного вознаграждения как бы подхлестывает его воображение». Купальщица разочарована: она страстная поклонница Сайласа Флэннери. «Мне нравятся такие романы, – говорит она, – когда с

первых же страниц начинаешь испытывать какое-то беспокойство…»

Терраса швейцарского шале: Сайлас Флэннери наблюдает в подзорную трубу, установленную на треножнике, за юной особой; она читает, сидя в шезлонге, на другой террасе, метрах в двухстах пониже. «Она появляется там каждый день, – говорит писатель. – Прежде чем сесть за письменный стол, я обязательно смотрю на нее. Интересно, что она читает. Я знаю: это не моя книга, и невольно мучаюсь от этого; я чувствую, что мои книги ревнуют: им хочется, чтобы их читали так, как читает она. Я смотрю на нее без устали; она словно живет в некой сфере, подвешенной в ином времени и пространстве. Сажусь за письменный стол, но ни один из придуманных мною сюжетов не соответствует тому, что я хочу передать». Марана спрашивает, не оттого ли он не может больше работать. «О нет, я пишу, – отвечает Флэннери. – Я по-настоящему пишу с тех пор, как смотрю на нее. Я только и делаю, что слежу отсюда за тем, как читает эта женщина; день за днем, час за часом. Я читаю на ее лице то, что желает читать она, и добросовестно об этом пишу…» – «Слишком добросовестно, – сухо прерывает его Марана. – Как переводчик и представитель интересов Бертрана Вандервельде, автора романа “Смотрит вниз, где сгущается тьма”, который читает та женщина, я требую от вас прекратить заниматься плагиатом!» Флэннери бледнеет: кажется, его заботит лишь одно: «Значит, по-вашему, эта читательница поглощает романы Вандервельде? Нет, я этого не вынесу…»

Африканский аэропорт; пассажиры угнанного самолета, взятые в заложники, сидят на земле (днем они обмахиваются платками, а ночью, когда становится холодно, кутаются в пледы, розданные стюардессами). Марана восхищен невозмутимостью одной девушки; она присела на корточки чуть поодаль, обхватила руками колени, приподнятые под длинной юбкой наподобие подставки для чтения; густые волосы ниспадают на книгу, скрывая лицо девушки; расслабленная рука переворачивает страницы, словно все самое главное решается там, в следующей главе. «В нашем затянувшемся плену, как на свалке, мы постепенно теряем человеческий облик, и только эта женщина выглядит защищенной, нетронутой, окруженной призрачным лунным сиянием». Тут-то Маране и приходит в голову

убедить боевиков из АРО, что книга, ради которой они затеяли эту рискованную операцию, вовсе не та, что они отобрали у него, а та, что читает она…

Исследовательская лаборатория в Нью-Йорке; запястья читательницы надежно прикованы к ручкам кресла; тело, облепленное датчиками, стянуто стетоскопическим поясом; виски сжаты гривастой короной змеевидных проводков, отмечающих степень концентрации пациентки и частоту импульсов. «Успех нашей работы зависит от чувствительности объекта исследования; кроме того, это должен быть человек с отменным зрением и крепкими нервами, способными выдержать непрерывное чтение романов и свежих компьютерных вариантов. Если за время чтения внимание удерживается на постоянном уровне, вещь принимается; если внимание ослабевает и колеблется, комбинация бракуется, а ее составляющие разбираются для использования в других наборах. Человек в белом халате открывает одну энцефалограмму за другой, как листки календаря. "Чем дальше, тем хуже, – замечает он. – Ни одного годного романа. Или надо переделывать программу, или пора менять читательницу". Всматриваюсь в тонкое лицо, скрытое шорами и козырьком: оно совершенно непроницаемо благодаря затычкам в ушах и ремешку, сковавшему подбородок. Что-то с ней будет?»

Ответа на этот полуриторический вопрос, небрежно брошенный Мараной, ты не находишь. Затаив дыхание ты следил за преображениями читательницы, словно речь шла об одном и том же человеке… Но даже если их несколько, всем им ты придаешь облик Людмилы… Разве не она утверждала, что теперь от романа можно требовать только одного: пробудить дремлющую тревогу как последний залог истины, избавляющей роман от удела серийного продукта, которого ему иначе не избежать. Образ обнаженной читательницы, лежащей под солнцем экватора, кажется тебе более достоверным, чем завуалированный облик Султанши, хотя в обоих случаях это может быть все та же Мата Хари, сосредоточенно проходящая сквозь революции где-то за пределами Европы, чтобы открыть путь бульдозерам и бетоноукладчикам… Ты прогоняешь это видение и вызываешь другое – с шезлонгом, наплывающим на тебя в

прозрачном альпийском воздухе. И ты уже готов бросить все, отправиться в дорогу, отыскать убежище Флэннери – лишь бы взглянуть в подзорную трубу на молодую читательницу или найти ее следы в дневнике удрученного своим бездействием писателя… (Или тебя скорее тянет продолжить чтение романа «Смотрит вниз, где сгущается тьма», пусть даже под другим названием и другого автора?) Между тем от Мараны поступают все более тревожные известия: сначала она становится заложницей в угнанном самолете, затем пленницей в трущобах Манхэттена… Как она вообще оказалась там, прикованная к орудию пыток? Зачем они мучают эту женщину ее естественным состоянием – чтением? И по чьему тайному умыслу постоянно пересекаются пути этих людей: ее, Мараны, членов загадочной секты, похищающей рукописи?

Судя по этим отрывочным сведениям, «Апокрифическая Власть», раздираемая внутренними противоречиями, вышла из-под контроля своего основателя Гермеса Мараны и распалась на две ветви: секту просвещенных последователей Архангела Света и секту нигилистов – приверженцев Архонта Тьмы. Первые убеждены, что среди наводнивших мир поддельных книг необходимо отыскать те немногие, в которых содержится некая внечеловеческая, а может, и внеземная истина. Вторые полагают, что только подделка, мистификация, намеренная ложь могут представлять в книге абсолютную ценность, истину, не замутненную господствующими повсюду лжеистинами.

«Я думал, что еду в лифте один, – пишет Марана все еще из Нью-Йорка, – как вдруг рядом со мной вырастает фигура: какой-то парень с буйной копной волос, в мешковатом рабочем комбинезоне притаился в самом углу. Это был даже не лифт, а грузовой подъемник в виде клетки, закрытой на щеколду. На каждом этаже мелькали пустые помещения, облезлые стены со следами вынесенной мебели, покореженные трубы, голые полы, покрытые плесенью потолки. Ловким движением длинных красных рук парень останавливает клеть между этажами.

– Давай сюда рукопись. Ты принес ее нам, а не им. Думал, наоборот, – как бы не так! Это *истинная* книга, хоть автор и сварганил кучу подделок. Стало быть, она принадлежит нам.

Приемом дзюдо он укладывает меня на пол и вырывает рукопись. Тут я смеюсь: юный фанатик уверен, что у него в руках дневник

духовных исканий Сайласа Флэннери, а не черновик одного из его бессчетных триллеров. Поразительно, с какой готовностью тайные секты ловят любое известие – не важно, ложное или правдивое, – отвечающее их ожиданиям. Подавленное состояние Флэннери всколыхнуло враждующие течения “Апокрифической Власти”. Преследуя разные цели, они наводнили своими осведомителями долины, расположенные вокруг виллы романиста. Члены “Крыла тьмы” знали, что знаменитый сочинитель бестселлеров потерял всякую веру в свои способности, и заключили, будто его следующий роман ознаменует скачок от заурядной, относительной фантазии к фантазии сущностной и абсолютной; это будет шедевр лжи как познания, словом, книга, которую они так давно ждут. С другой стороны, члены “Крыла света” полагали, что душевные переживания такого мастера лжи неминуемо породят катаклизм истины, каковым они считали дневник писателя, о котором ходило множество толков… Когда же Флэннери распространил слух, будто я украл у него важную рукопись, и те и другие решили, что это и есть предмет их поисков, и ринулись по моим следам: “Крыло тьмы” совершило угон самолета, а “Крыло света” – нападение в лифте…

Парень с буйной шевелюрой сунул рукопись за пазуху, выбрался из лифта, захлопнул перед моим носом решетчатую дверь, нажал на кнопку, отправляя меня вниз, и напоследок пригрозил:

– А с тобой, мошенник, мы еще посчитаемся! Вот только вызволим нашу сестру из оков дьявольской машины Фальсификаторов!

Пока клеть лифта медленно ползет вниз, я отзываюсь со смехом:

– Никакой машины нет и в помине, птенчик! А книги нам диктует Сказитель!

Молодчик мигом вызывает лифт.

– Сказитель? Ты говоришь – Сказитель? – Кровь отлила от его лица. Долгие годы последователи секты ищут незрячего старца по всем континентам, где слывет о нем молва в бесчисленных местных преданиях.

– Он самый. Так и передай Архангелу Света! Да прибавь, что я нашел Сказителя! Он в моей власти и работает на меня! Это вам не какая-нибудь там машина! – Теперь уже я нажимаю на кнопку и еду вниз».

В этот момент в твоей душе борются сразу три желания. Ты готов хоть сейчас пуститься в путь, переплыть океан, пройти вдоль и поперек континент под созвездием Южного Креста, отыскать последнее пристанище Гермеса Мараны, узнать от него всю правду или, по крайней мере, получить продолжение прерванных романов. Одновременно ты хочешь немедленно взять у Каведаньи «В сети перекрещенных линий» псевдо- (или настоящего?) Флэннери, даже если это окажется «Смотрит вниз, где сгущается тьма» настоящего (или псевдо?)

Вандервельде. Наконец ты должен поскорее попасть в кафе, где у тебя назначена встреча с Людмилой: рассказать ей о первых результатах твоего расследования и убедиться, увидев ее, что между ней и читательницами, повстречавшимися переводчику-мифоману в его странствиях по белу свету, нет ничего общего.

Два последних желания вполне осуществимы, и одно другого не исключает. Поджидая Людмилу в кафе, ты открываешь книгу, присланную Мараной.

В сети перекрещенных линий

Первое ощущение, передаваемое этой книгой, должно примерно соответствовать тому, что я испытываю, когда слышу телефонный звонок; я говорю «примерно», поскольку сомневаюсь, что слово написанное может хотя бы отчасти передать мои ощущения: недостаточно просто объявить, что моя первая реакция выражает отказ, бегство от этого зова – агрессивного, угрожающего и вместе неотложного, невыносимого, насильственного, заставляющего подчиниться категоричности властного звука и броситься отвечать, даже если заранее знаешь, что он принесет одни страдания и невзгоды. Не думаю, что убедительнее попытки описать подобное состояние души была бы метафора – скажем, жгучая боль в заголенном боку, после того как в него вонзилась стрела; и вовсе не потому, что мы не можем прибегнуть к воображаемому ощущению, чтобы передать ощущение знакомое, хотя никто уже толком не знает, что мы испытываем, когда в нас попадает стрела, все полагают, что без труда могут вообразить это чувство незащищенности, беспомощности перед неизвестностью, настигающей нас из чуждых и неведомых пространств, чувство, вполне применимое к телефонному звонку, – а потому, что совершенная, без колебаний, свойственных стреле, непреклонность исключает всякую предвзятость, путаность, нерешительность, которые могут звучать в голосе невидимого мною существа; и прежде чем оно что-то скажет, я могу догадаться если не о том, что будет сказано, то по крайней мере о реакции, которую вызовет во мне услышанное. Лучше всего, если бы с самого начала книга передавала ощущение некоего пространства, без остатка заполненного моим присутствием, так как кругом находятся только неподвижные предметы, включая телефон; пространства, в котором, казалось, не может быть никого, кроме меня, обособленного в моем внутреннем времени; а затем – прерывания временного постоянства, отличного от прежнего пространства, поскольку его заполняет телефонный звонок; отличного от прежнего присутствия, поскольку оно подчинено воле звонящего предмета. Желательно, чтобы с самого начала книга передавала все это не единожды, а как бы в виде рассеянных во

времени и пространстве звонков, разрывающих постоянство времени, пространства и воли.

Наверное, ошибочно считать, что в начале есть только я и телефон внутри завершенного пространства наподобие моего дома; на самом деле я должен отразить мое состояние по отношению к множеству звонящих телефонов; возможно, эти звонки предназначены кому-то еще и никак меня не касаются, но коль скоро мне могут позвонить по одному телефону, вполне вероятно или хотя бы допустимо, что с таким же успехом позвонят и по всем телефонам. К примеру, когда в соседнем доме звонит телефон, я поначалу думаю, не мой ли это телефон; вскоре сомнения рассеиваются, но не до конца: а ну как и впрямь звонят мне, просто ошиблись номером или неправильно соединили – и попали к соседу; к тому же там никто не отвечает, телефон продолжает трезвонить, и тогда, по непостижимой логике, извечно навеваемой телефонным звонком, я принимаюсь строить догадки: может, звонят все-таки мне; может, сосед все-таки дома и не берет трубку, потому что знает об этом; может, и тот, кто звонит, знает, что набрал неправильный номер, но делает это нарочно, чтобы удерживать меня в этом состоянии, зная, что я не могу снять трубку, хоть и знаю, что должен снять трубку.

Или когда, выйдя из дома и услышав телефонный звонок – из моей или чужой квартиры, – охваченный тревогой, я опрометью бросаюсь назад, запыхавшись, взбегаю по лестнице, но телефон замолкает, и я уже не узнаю, мне ли это звонили.

Или когда я иду по улице и слышу телефонные звонки, доносящиеся из чужих домов; даже когда я попадаю в чужой город, где о моем присутствии не знает никто, даже тогда, услышав звонок, я на какое-то мгновение решаю, что звонят именно мне, впрочем, уже в следующее мгновение я с облегчением сознаю, что пока ни один звонок мне не грозит, я вне пределов досягаемости, а значит, вне опасности; но и эта передышка длится лишь мгновение, ибо тут же сменяется мыслью о том, что сейчас звонит не только неизвестный мне телефон; что за много километров, за сотни тысяч километров по пустым комнатам моей квартиры наверняка разносится несмолкающий звонок моего телефона, и снова я разрываюсь между необходимостью и невозможностью снять трубку.

Каждое утро, перед началом моих лекций, я совершаю часовую пробежку – натягиваю тренировочный костюм и выбегаю на улицу; я чувствую, что мне обязательно нужно двигаться, да и врачи предписали бег как средство от мучительного ожирения, а заодно и для нервной разрядки. В этом местечке, если ты не идешь в студенческий кампус, в библиотеку, на лекции твоих коллег или в университетскую столовую, делать больше решительно нечего; так что единственное занятие – бегать по окрестным холмам, поросшим ивами и кленами, по примеру многих студентов и коллег. Встречаясь на усеянных шуршащей листвой дорожках, мы иногда перебрасываемся короткими приветствиями, иногда нет – чтобы не сбивать дыхание. В этом, кстати, тоже преимущество бега перед другими видами спорта: каждый бежит сам по себе и не обязан отчитываться перед другими.

Холмы сплошь застроены двухэтажными деревянными домиками с небольшими садовыми участками, совершенно одинаковыми и совершенно разными; пробегая мимо, я время от времени слышу телефонные звонки. Это меня будоражит; непроизвольно я замедляю бег, прислушиваюсь, не снимет ли кто-нибудь трубку, и теряю терпение, если телефон продолжает звонить. Бегу, миную очередной домик, где надрывается телефон, и размышляю про себя: «Телефонный звонок явно меня преследует. Кто-то подбирает в телефонной книге все номера по Честнат-лейн и названивает в каждый дом, чтобы рано или поздно настичь беглеца».

Бывает, что дома беззвучны и пусты; по деревьям неслышно шмыгают белки; сороки подлетают к деревянным кормушкам клюнуть разок-другой приготовленное для них зерно. На бегу я ощущаю смутную тревогу; прежде чем ухо различило звук, сознание предчувствует возможность звонка, оно как будто взывает к нему, вызывает его из его собственного отсутствия, и в тот же миг из какого-то дома до меня долетают сначала приглушенные, затем все более отчетливые переливы звонка; его колебания, видимо, уже давно уловила моя внутренняя антенна, перед тем как их воспринял мой слух; и вот уже на меня находит нелепый психоз: я пленник рокового круга, в центре которого – телефон; он все звонит из этого дома, а я бегу, не убегая от него, медлю, не замедляя бег.

«Если до сих пор никто не взял трубку, значит, в доме ни души. Почему же тогда продолжает звонить телефон? На что они уповают?

Может, там живет глухой и они надеются, что в конце концов он возьмет трубку? Может, там живет паралитик, и нужно долго ждать, пока он доползет до аппарата… Может, там живет самоубийца, и покуда тренькает телефон, остается надежда удержать его от последнего шага…» Надо бы предложить помощь, прийти на выручку глухому, паралитику, самоубийце… Таким образом, размышляю я далее, следуя своей нелепой логике, я смог бы убедиться, не мне ли вдруг звонят…

Не останавливаясь, я толкаю калитку, вбегаю на участок, огибаю дом, осматриваю задворки, сворачиваю за гараж, мастерскую, конуру. Кругом пусто. В открытое окно видна неприбранная комната: на столе звонит телефон. Хлопает ставня: за раму зацепилась порванная занавеска.

Я трижды обежал вокруг дома, делая разминочные упражнения руками и ногами, нарочито поддерживая ровное дыхание, – дабы мое вторжение не приняли за налет грабителя, ведь застань меня кто-нибудь в этот момент, мне будет непросто доказать, что я ворвался сюда, услышав телефонный звонок. Залаяла собака, не здесь – на соседнем участке; ее и не видно; на какое-то мгновение сигнал «собачий лай» оказывается гораздо сильнее сигнала «телефонный звонок»; этого вполне достаточно, чтобы в заточившем меня круге образовался разрыв, – и я уже снова бегу трусцой мимо придорожных деревьев, оставляя позади затихающий звонок.

Добегаю до лужайки, где кончаются дома, и перевожу дыхание. Делаю наклоны, приседания, массирую мышцы ног, чтобы не застыли. Смотрю на часы. Опаздываю, пора возвращаться: студенты будут ждать. Не хватало еще разговоров, будто я совершаю пробежки в учебное время… Устремляюсь в обратный путь, не глядя по сторонам: тот дом я и не узнаю, пробегу себе как ни в чем не бывало. Таких домов тут пруд пруди, все на одно лицо; разве что опять зазвонит телефон, но этого никак не может быть…

Чем настойчивее я перебираю в уме эти мысли, сбегая под горку, тем яснее до меня доносится телефонный звонок; а вот и тот самый дом: телефон по-прежнему надрывается. Снова заворачиваю на участок, подбегаю к заднему окну. Телефон совсем близко, можно дотянуться. Запыхавшись, проговариваю: «Здесь никого…» В трубке

раздается слегка раздраженный голос, но только слегка, потому что больше всего поражает его холодное спокойствие:

– Слушай меня внимательно. Марджори здесь. Скоро она проснется. Она связана и не сбежит. Запоминай адрес: Хиллсайд-драйв, 115. Хочешь ее забрать – забирай, а не то – в подвале канистра бензина и пластиковая взрывчатка с часовым механизмом. Через полчаса дом вспыхнет как спичка.

– Да, но я… – пытаюсь было возразить.

Положили трубку.

Как быть? Разумеется, можно вызвать полицию, пожарных по этому же телефону; только как я все объясню, как оправдаюсь, в общем, при чем тут я, когда я тут ни при чем? Делаю еще один круг и выбегаю на улицу.

Мне, конечно, жаль эту Марджори, хотя здесь дело явно нечисто; просто так в подобные переплеты не попадают. Если я выступлю в роли ее спасителя, никто не поверит, что мы не знакомы; заварится такая каша – не расхлебаешь: преподаватель другого университета, приехал сюда читать лекции по приглашению… Короче, репутация обоих университетов будет запятнана…

С другой стороны, когда в опасности человеческая жизнь, уже не до рассуждений… Замедляю бег. Я мог бы зайти в любой дом, позвонить в полицию и с самого начала заявить, что не знаком ни с какой Марджори, в том числе и с этой…

По правде говоря, в здешнем университете есть студентка по имени Марджори, Марджори Стаббс. Я сразу отметил ее среди прочих слушательниц моего курса. Девушка, что называется, понравилась мне с первого взгляда; обидно, что в тот раз все так нелепо вышло: я позвал ее к себе, обещал дать нужные книжки. Ох, не надо было этого делать: я только начал курс лекций; никто еще не понял, что я за птица; она могла не так все истолковать; словом, возникло недоразумение, досадное недоразумение; в нем и сейчас трудно разобраться; она то и дело поглядывает на меня игриво, да и я тоже хорош: слова не могу ей сказать, мямлю, запинаюсь; другие студентки стреляют глазами в нового лектора и похихикивают…

Тем не менее чувство неловкости, внезапно пробужденное именем Марджори, не должно помешать мне прийти на помощь другой Марджори, чья жизнь находится в опасности… Если, конечно, это не

одна и та же Марджори… Если, конечно, этот звонок не адресован мне самому… Всемогущая шайка гангстеров не спускает с меня глаз; им известно, что каждое утро я совершаю пробежку по этой улице; возможно, они следят за мной в подзорную трубу с наблюдательного пункта на ближайшем холме; когда я пробегаю мимо пустующего дома, они звонят по телефону, звонят мне, потому что знают о том дурацком случае с Марджори у меня дома, и шантажируют меня…

Незаметно для себя я оказался у входа в студенческий кампус; как был – в тренировочном костюме и кроссовках; я даже не подумал забежать домой переодеться и взять учебники. Что делать? Бегу по кампусу; навстречу, через лужайку, идут гурьбой студентки – спешат на мою лекцию и снова одаривают меня невыносимой усмешкой.

Останавливаю Лорну Клиффорд и, продолжая бег на месте, спрашиваю:

– Где Стаббс?

В ответ Клиффорд только хлопает глазами:

– Марджори? Ее дня два уж нет. А что?

Я уже далеко. Выбегаю из кампуса. Несусь по Гросвенор-авеню, затем по Седар-стрит и Мейпл-роуд. Еле перевожу дыхание, не чувствую земли под ногами, а заодно и легких в груди. Вот и Хиллсайд-драйв. Одиннадцать, пятнадцать, двадцать семь, пятьдесят один; хорошо еще, что нумерация домов идет не по порядку, а через десяток. Вот наконец и 115. Дверь нараспашку; вбегаю наверх по лестнице, врываюсь в затемненную комнату. С кляпом во рту Марджори привязана к дивану. Распутываю веревки. Ее рвет. Она смотрит на меня с презрением и процеживает:

– Ублюдок.

Глава седьмая

Ты сидишь за столиком в кафе, читаешь роман Сайласа Флэннери, взятый у господина Каведаньи, и поджидаешь Людмилу. Двоякое ожидание: с одной стороны, ты ждешь развития сюжета, с другой – читательницу, опаздывающую к назначенному времени. Ты сосредоточенно читаешь, пытаясь перенести ожидание Людмилы и книгу, словно надеешься, что она сойдет к тебе прямо со страниц. Но чтение не идет, роман застопорился на той странице, что у тебя перед глазами, как будто только появление Людмилы может привести в движение цепочку событий.

Тебя окликают. Официант повторяет твое имя, переходя от столика к столику. Вставай, тебя к телефону. Это Людмила?

Это она.

– Я сейчас никак не могу прийти. Потом объясню.

– Слушай: книга у меня! Нет, не та. И не эта. Новая. Ты только послушай…

– Уж не собрался ли ты пересказывать сюжет по телефону?

Погоди-погоди, дай ей договорить.

– Знаешь что – приходи, – говорит Людмила. – Да, ко мне. Я не из дома, но скоро буду. Придешь первым, заходи – ключ под ковриком.

Она живет непритязательно и просто; ключ оставляет под ковриком, доверяет людям, да и брать у нее, поди, нечего. Ты летишь по названному адресу. Нажимаешь на звонок. Безответно. Ее действительно нет. Достаешь ключ. Входишь. На окнах опущены жалюзи. Квартира тонет в полумраке.

Квартира одинокой девушки. Квартира Людмилы. Она живет одна. Ведь именно это ты хочешь выяснить в первую очередь, не так ли? Нет ли где-нибудь примет, указывающих на присутствие в доме мужчины? Или ты предпочитаешь до поры до времени не обращать на это внимания и пребывать в неведении и сомнении? Что-то явно удерживает тебя от излишнего любопытства (ты приподнял жалюзи, но только приподнял). Может, ты чувствуешь, что не вправе злоупотреблять ее доверием и втайне проводить расследование. А может, полагаешь, что тебе заранее известно, как выглядит жилище

одинокой девушки, и ты в состоянии не глядя определить его содержимое. Ведь мы живем в единообразном мире, по строго определенным жизненным стандартам: интерьер, обстановка… бытовая электроника – все это выбрано из некоторого числа данных возможностей. Разве по ним догадаешься, какова их владелица на самом деле?

Какая ты, Читательница? Пришла пора этой книге во втором лице обратиться не только к обобщенному мужскому «ты», возможно, брату или двойнику двуликого «я», а непосредственно к тебе, появившейся еще во Второй Главе в качестве Третьего Лица, необходимого для того, чтобы роман стал романом, и между Вторым Лицом мужского рода и Третьим Лицом женского рода что-то произошло, обрело форму, утвердилось или разрушилось, следуя взлетам и падениям людских судеб. Или следуя мысленным построениям, через которые мы переживаем людские судьбы. Или следуя мысленным построениям, через которые мы придаем людским судьбам значения, позволяющие их переживать.

До сих пор эта книга внимательно следила за тем, чтобы у Читателя читающего была возможность соединиться с Читателем читаемым; поэтому ему не давали имени, которое автоматически приравняло бы его к Третьему Лицу, к действующему лицу (тебе же как Третьему Лицу обязательно нужно было дать имя – Людмила), но удерживали в абстрактном состоянии местоимений готового к любому определению и действию. Посмотрим, Читательница, сумеет ли книга набросать твой истинный портрет, начиная с рамки – стиснув тебя со всех сторон и наметив очертания твоей фигуры.

Впервые ты явилась Читателю в книжном магазине, возникла, отделившись от книжных полок, словно множество книг непременно предполагает наличие Читательницы. Твой дом – место, где ты читаешь, – может поведать нам о том, какое значение имеют в твоей жизни книги; что это – заслон, который ты выставляешь от внешнего мира, сон, в который погружаешься как в дурман, или мостик, который перебрасываешь к внешнему миру, занимающему тебя настолько, что ты хотела бы расширить его размеры посредством книг. Чтобы понять это, Читатель знает: первым делом нужно осмотреть кухню.

Кухня – это та часть дома, которая может рассказать о тебе больше всего. Она расскажет, готовишь ли ты дома (пожалуй, готовишь, хотя и

не каждый день, но довольно регулярно); готовишь ли для себя одной или для других тоже (чаще для себя, хотя так старательно, как будто и для других тоже; а иногда и для других, хотя так непринужденно, как будто для себя одной); предпочитаешь ли незатейливую пищу или склонна к изысканным блюдам (купленные тобой продукты и кухонная утварь наводят на мысль о тонких, прихотливых рецептах или хотя бы их замыслах; обжорой тебя не назовешь, но перспектива довольствоваться на ужин яичницей из двух яиц нагнала бы на тебя тоску); воспринимаешь ли стояние у кухонной плиты как мучительную необходимость или своего рода удовольствие (крохотная кухонька обустроена так, чтобы все в ней было практично, удобно и необременительно; чтобы не задерживаться там подолгу, но и посидеть сколько надо, если есть желание). Кухонные электроприборы расположились каждый на своем месте, точно домашние животные, чьи заслуги не забываются, но и не преувеличиваются, не возводятся в культ. Среди утвари заметно некоторое излишество (тесаков в форме полумесяца аж целый набор – от большого до маленького, – хотя вполне хватило бы одного), тем не менее декоративное почти неотделимо в ней от полезного, с мелкими уступками в пользу изящного. Кое-что говорят о тебе съестные припасы: несколько видов приправ; одни ты используешь постоянно, другие как бы дополняют коллекцию; то же самое можно сказать о разных сортах горчицы; однако по-настоящему небезучастное или поверхностное отношение к пище подтверждают гирлянды чесночных головок, развешанные в пределах досягаемости. Заглянув в холодильник, ты можешь почерпнуть еще кое-какие ценные данные: на подставке для яиц залежалось одно-единственное яйцо; лимон представлен двумя половинками, одна из которых уже высохла; словом, по части съестного наблюдаются некоторые пробелы. Зато имеется каштановая паста, маслины и баночка каперсов. Ясно, что, запасаясь продуктами, ты отдаешь предпочтение увиденному на прилавках, а не думаешь пополнить истощившиеся или отсутствующие в доме припасы.

После осмотра твоей кухни возникает представление о тебе как о женщине с открытым, общительным характером и ясным умом, чувственной и последовательной, готовой пожертвовать целесообразностью ради фантазии. Может ли кто-нибудь влюбиться в тебя, взглянув лишь на твою кухню? Как знать, пожалуй, Читатель, и

без того уже предрасположенный к этому.

Он продолжает осмотр дома, ключи от которого ты ему доверила. Он – это Читатель. Тебя окружает уйма всякой всячины: веера, открытки, флакончики, висящие на стенах ожерелья. И что любопытно, каждый предмет при ближайшем рассмотрении оказывается особенным и в каком-то смысле неожиданным. Твои отношения с вещами носят доверительный, выборочный характер: только те вещи, которые ты воспринимаешь как свои, становятся твоими; это отношения с предметностью вещей, а не с умственным или чувственным представлением о них, меняющимся, едва ты увидишь и коснешься их. Приобщенные к твоей личности, отмеченные твоим обладанием ими, вещи уже не кажутся здесь случайными, они приобретают значимость, подобно частям речи, подобно памяти, сотканной из сигналов и символов. В тебе развито чувство собственника? Достаточных оснований для такого утверждения пока нет. Можно лишь сказать, что ты чувствуешь себя собственницей по отношению к самой себе: ты привязана к знакам, в которых усматриваешь что-то свое, боясь утратить себя вместе с ними.

В углу кучно висят фотографии в рамках. Чьи они? Твои – в разном возрасте; многих других людей – мужчин и женщин; некоторые снимки совсем старые, наверное, из семейного альбома; но главное, что в совокупности они не столько напоминают об определенных людях, сколько составляют некий монтаж жизненных пластов. Рамки с цветочными орнаментами девятнадцатого века не похожи одна на другую: серебряные, медные, эмалевые, черепаховые, кожаные, из резного дерева; с одной стороны, они как будто намеренно воздают должное мгновениям прожитой жизни; с другой – образуют коллекцию рамок, а фотографии лишь заполняют их; в иные вставлены газетные вырезки, старые, неразборчивые письма; иные и вовсе пусты.

Больше на стене ничего не висит; нет возле нее и никакой мебели. И так во всей квартире: то голые, то перегруженные стены; знаки словно специально прописаны мелким почерком и опоясаны пустотой, где можно перевести дух и успокоиться.

Мебель, статуэтки и прочие безделушки тоже стоят как попало. Ты пытаешься упорядочить их (в твоем распоряжении ограниченное пространство; однако использовали его с таким расчетом, чтобы оно

казалось гораздо шире, чем есть на самом деле), но порядок видится тебе не в упрощенном наложении окружающих предметов, а в их сочетании между собой.

Так какая же ты, собранная или рассеянная? На прямые вопросы твой дом не отвечает ни да ни нет. Собранность, если не сказать взыскательность, в тебе, несомненно, присутствует, но на деле она ни в чем не выражается. Видно, домом ты занимаешься время от времени, когда есть силы и настроение.

Угрюмая ты или веселая? Твой дом мудро воспользовался минутами твоего ликования, чтобы с готовностью принять тебя в минуты уныния.

Ты и впрямь такая гостеприимная, или тебе все безразлично и ты с легкостью впускаешь к себе первого встречного? Читатель подыскивает укромный уголок, чтобы засесть за чтение, не вторгаясь в пространство, уготованное тебе одной; он понимает, что любой гость может почувствовать себя здесь как дома, если он приноровится к твоим правилам.

Что еще? Цветы в горшках не поливали, наверное, несколько дней. Хотя вполне возможно, что для своего жилища ты выбрала самые неприхотливые. В доме нет следов пребывания собак, кошек или птиц: ты из тех женщин, которые стараются не прибавлять себе забот. Это может быть признаком как эгоизма, так и сосредоточенности на иных, менее очевидных занятиях, а также того, что ты не нуждаешься в символических заместителях естественных порывов, побуждающих тебя заниматься другими людьми, сопереживать им в жизни, в книгах…

Посмотрим, что у нас с книгами. Судя по книгам, которые у тебя на виду, сразу ясно, что они нужны непосредственно для чтения, а не для занятий или справок; да и расставлены книги без всякой последовательности, присущей любой библиотеке. Иногда ты порываешься как-то их упорядочить, но каждый такой порыв сводится на нет очередным разноликим пополнением в книжном стане. Тома соединяются не только по размерам форматов, но в основном по времени приобретения; впрочем, ты легко находишь нужную книгу, тем более что их не так уж и много (другие книжные полки ты, должно

быть, оставила на других квартирах, в других жизнях), и вряд ли ты будешь искать уже прочитанную книгу.

В общем, ты не из тех Читательниц, Которым Нравится Перечитывать Книги. Ты прекрасно помнишь все, что читала (это едва ли не первое, что ты сообщила о себе); может быть, каждая книга раз и навсегда связана у тебя с тем, как ты читала ее в определенный момент. И как ты хранишь прочитанные книги в памяти, точно так же любишь сохранять их материально, удерживать при себе.

Среди твоих книг, так и не составивших цельную библиотеку, тем не менее можно различить мертвую или спящую часть, иначе говоря, собрание изданий, отложенных до поры до времени; возможно, ты читала их и даже перечитывала или не читала и никогда не прочтешь, но в любом случае хранишь (и смахиваешь с них пыль); и живую часть – те книги, которые ты читаешь в данный момент или собираешься прочесть; ты еще не отошла от них, тебе нравится перекладывать их с места на место и знать, что они всегда под рукой. В отличие от продуктов питания, сосланных на кухню, именно живая часть – твое нынешнее чтение – говорит о тебе красноречивее всего. Книги рассредоточены повсюду: одни раскрыты, другие заложены самодельными закладками или загнутыми уголками страниц. Ты, как видно, привыкла читать сразу несколько книг, и каждую в свое время и в своем месте твоей небольшой квартирки: некоторые книги предназначены для ночного столика в спальне, некоторые удобно пристроились у кресла, на кухне, в ванной.

Вероятно, это еще один существенный штрих, дополняющий твой портрет: твой ум разделен внутренними перегородками, позволяющими разграничивать несхожие времена; в них можно задержаться, по ним можно пробежать вскользь; а можно и попеременно обращаться к параллельным каналам. Достаточно ли этого, чтобы утверждать, будто ты стремишься прожить одновременно несколько жизней? Или действительно проживаешь одновременно несколько жизней? Будто ты отделяешь прожитое с одним человеком или в одних обстоятельствах от прожитого с другими людьми и в других обстоятельствах? Будто заранее знаешь, что в конце концов тебя ждет сплошное разочарование, восполнимое лишь в совокупности всех разочарований?

Читатель, будь настороже. У тебя закралось подозрение, подкрепляющее твою пока еще неясную ревность. Читая одновременно несколько книг, чтобы не разочароваться в конце каждой из них, Людмила проживает одновременно и несколько сюжетов…

(Не думай, что книга упустила тебя из виду, Читатель. «Ты», на время перешедшее к Читательнице, вот-вот снова обратится к тебе. Ты по-прежнему остаешься одним из возможных «ты». Кто осмелится приговорить тебя к утрате собственного «ты» – трагедии не менее ужасной, чем утрата собственного «я»? Для того чтобы повествование, обращенное ко второму лицу, стало романом, нужны по крайней мере два различимых и сопредельных «ты», отстоящих от массы прочих «он», «она», «они».)

И все же, взглянув на книги, собранные в доме Людмилы, ты успокаиваешься. Чтение – это одиночество. Людмила защищена створками раскрытой книги, как устрица створками раковины. Тень другого мужчины, предполагаемая или вполне отчетливая, помалу сглаживается. Ведь даже если нас двое, мы читаем в одиночку. Тогда что ты здесь ищешь? Ты хотел бы проникнуть в ее раковину, протиснуться меж книжных страниц, которые она читает? Или отношения между Читателем и Читательницей можно уподобить двум отдельным раковинам, сообщающимся лишь частично, как два самобытных существа?

С тобой книга, которую ты читал в кафе. Тебе не терпится продолжить чтение, чтобы передать книгу ей, чтобы продолжить общение с ней – по каналу, проделанному чужими словами. Именно потому, что их произнес сторонний голос – голос молчаливого никто, окрашенный типографской краской и оттиснутый типографским шрифтом, эти слова могут стать вашими, воплотиться в ваш язык, шифр, средство, благодаря которому вы будете обмениваться сигналами и узнавать друг друга.

В замочной скважине поворачивается ключ. Ты молчишь, словно приготовил Людмиле сюрприз, словно собираешься показать себе и ей: то, что ты здесь, – вполне естественно. Однако шаги не ее. В прихожую не спеша вступает мужчина. Сквозь портьеры ты видишь его очертания, кожаную куртку, уверенные, привычные движения,

только крайне замедленные, как будто он что-то ищет. Ты узнаешь его. Это Ирнерио.

Нужно сразу решить, как себя вести. Оттого, что он входит в ее дом, как в собственный, ты испытываешь еще большую досаду, чем оттого, что сидишь тут чуть ли не тайком. Впрочем, ты прекрасно знаешь, что дом Людмилы открыт для друзей: ключ под ковриком. С того времени как ты вошел, тебя касаются безликие призраки. Ирнерио хотя бы знакомый призрак. Так же, как и ты для него.

– А, это ты. – Он заметил гостя, но ничуть не удивился. Естественность, о которой ты только что помышлял, совсем тебя не радует.

– Людмилы нет, – говоришь ты, скорее для того, чтобы утвердить свое преимущество на эту информацию. А заодно и территорию.

– Знаю, – отвечает он равнодушно.

Ирнерио прохаживается по комнате, берет с полок книги.

– Я могу быть тебе чем-то полезен? – продолжаешь ты почти вызывающе.

– Да вот ищу одну книжку.

– Я-то думал, ты вообще не читаешь.

– А мне не для чтения. Для дела. Я кое-что делаю из книг. Объекты. Ну, то есть объекты искусства: статуи, картины, называй как угодно. У меня и выставка была. Я скрепляю книги смолами, и они застывают как есть: закрытые или открытые. Иногда я придаю им разные формы, высекаю из них всевозможные построения, проделываю внутри книг отверстия. Книга – прекрасный рабочий материал: из него много чего можно сделать.

– А Людмила не против?

– Ей нравятся мои работы. Она дает мне советы. По мнению критиков, это серьезное искусство. Они хотят выпустить мой персональный альбом. Меня познакомили с господином Каведаньей. Это будет книга с репродукциями всех моих книг. Когда она выйдет, я использую ее для очередного объекта, многих объектов. Потом их снова соберут в одну книгу и так далее.

– Нет, я имею в виду, не против ли она, что ты берешь у нее книги.

– Да их тут вон сколько… Между прочим, она сама отдает мне книги, которые ей ни к чему. Но не подумай, что мне все равно, с чем работать. Вещь получается только тогда, когда я ее чувствую. Одни

книги сразу наводят на нужную мысль, другие – наоборот: бьешься, бьешься – и никакого толка. Бывает, мысль уже есть, а подходящих книг не находится. – Он роется в книжном шкафу, вынимает книгу, пробует ее на вес, осматривает обложку, корешок и ставит на место. – Есть книги, располагающие к себе, а есть и совершенно невыносимые: они-то чаще всего и попадаются.

Вопреки твоим ожиданиям Великая Книжная Стена, призванная, казалось, надежно защищать Читательницу от набегов этого варвара, обернулась незатейливой игрушкой, которую он собирает и разбирает ничтоже сумняшеся.

– Ты небось знаешь библиотеку Людмилы как свои пять пальцев, – усмехаешься ты.

– Да они тут все одного покроя… Просто приятно видеть сразу столько книг. Я люблю книги…

– Как это?

– Ну, нравится мне, когда кругом книги. Поэтому у Людмилы так хорошо. Правда?

Плотная изгородь исписанных страниц опоясывает пространство, как густая листва в дремучем лесу или слоистая скала, разлинованная пластами сланца. Так, всматриваясь в глаза Ирнерио, ты пытаешься различить глубинный фон, от которого должен отделиться живой образ Людмилы. Если сумеешь завоевать его доверие, Ирнерио раскроет волнующую тебя тайну отношений между Нечитателем и Читательницей. Скорее задай ему вопрос на эту тему, не важно какой.

– А ты, – пока это единственное, что приходит тебе в голову, – что ты делаешь, когда она читает?

– Я не прочь смотреть, как она читает, – отзывается Ирнерио. – Ведь должен же кто-то читать, а? По крайней мере знаешь, что необязательно делать это самому.

Радоваться пока нечему, Читатель. Приоткрывшаяся тайна их близости состоит во взаимодополняемости двух жизненных ритмов. Для Ирнерио важна лишь сиюминутная жизнь; искусство значимо для него как предполагаемая затрата жизненной энергии, а не как долговечное произведение или наполнение жизни, выискиваемое Людмилой в книгах. Впрочем, накопленную энергию он так или иначе признает и без чтения. Ирнерио чувствует, что ее нужно прокручивать,

используя книги Людмилы в качестве материальной поддержки тех произведений, в которые он вложит свою энергию хотя бы на миг.

– Вот эта подойдет, – говорит Ирнерио, засовывая в куртку одну из книг.

– Ее-то я сейчас и читаю. Так что вынимай. К тому же книга не моя, я должен вернуть ее Каведанье. Подбери что-нибудь еще. Скажем, вот эту. Они очень даже похожи…

Ты взял томик, перетянутый красной бумажной полоской: «Последний бестселлер Сайласа Флэннери». Поэтому они и схожи: романы Флэннери издаются в едином графическом оформлении. Но дело не в оформлении. На суперобложке крупно выведено название романа: *«В сети…»* Это два экземпляра одной и той же книги! Вот так неожиданность.

– Ого! Я и не думал, что Людмила уже…

Ирнерио отдергивает руку:

– Это не Людмилина. Мне такого добра и даром не надо. Надо же, а я решил, что их и след простыл.

– То есть? А чья же она? И что значит «след простыл»?

Ирнерио берет книгу двумя пальцами, направляется к маленькой двери, открывает ее и швыряет книгу внутрь. Ты за ним. Просовываешь голову в темную комнатушку. На столе пишущая машинка, магнитофон, словари, толстая папка. Достаешь из папки титульный лист, выносишь его на свет и читаешь: *Перевод Гермеса Мараны.*

Ты стоишь как громом пораженный. Читая письма Мараны, ты, казалось, видел Людмилу между строк… Все объяснялось просто: ты не мог не думать о ней, и это лишь доказывало, что ты по уши в нее влюблен. И вот, осматривая дом Людмилы, ты нападаешь на след Мараны. Что это, наваждение? Нет, с самого начала ты предполагал, что между ними существует связь… Ревность, воспринимавшаяся до сих пор как игра с самим собой, овладевает тобой до кончиков ногтей. Не только ревность, но и подозрительность, недоверие; такое чувство, что ты уже не можешь быть уверенным ни в ком и ни в чем… Погоня за прерванной книгой, возбуждавшая тебя вдвойне, поскольку ты совершал ее вместе с Читательницей, оборачивается погоней за Людмилой, уносящейся по лабиринту загадок, уловок, притворства…

– А… при чем тут Марана? – спрашиваешь ты. – Он что, здесь живет?

Ирнерио качает головой:

– Жил. Когда-то. Вряд ли он вернется. Все, что он навыдумывал, насквозь пропитано фальшью: и что бы о нем ни говорили, тоже будет фальшивым. В этом-то он преуспел. Принесенные им книги внешне ничем не отличаются от обычных, но я их вмиг узнаю, на расстоянии. При том, что все бумаги Мараны должны, по идее, находиться в этой комнатушке. Время от времени где-нибудь обязательно появляются его следы. Сдается мне, что он сам оставляет их – приходит сюда втихаря, когда никого нет, и снова подтасовывает…

– Подтасовывает?

– Ну да… Людмила говорит, что все, к чему прикасается его рука, становится фальшивым. Я, например, твердо знаю: начни я использовать побывавшие у него книги, мои работы станут фальшивыми, даже если они будут точно такими, как всегда…

– Тогда почему Людмила хранит его вещи в этой комнатушке? Ждет, что он вернется?

– С ним Людмила была несчастной… Она не могла читать… Наконец она сбежала… Она первой ушла… Потом ушел и он…

Призрак удаляется. Ты переводишь дух. Прошлое позади.

– А если он опять появится?

– Она опять сбежит…

– Куда?

– Все туда же… В Швейцарию…

– А что, в Швейцарии у нее кто-то еще? – Ты невольно вспоминаешь о писателе с подзорной трубой.

– Можно сказать и так. Но это совсем другая история… Старик детективщик…

– Сайлас Флэннери?

– По словам Людмилы, всякий раз, когда Марана убеждает ее, что разница между правдой и ложью – это всего лишь наше предубеждение, она чувствует, что ей нужно увидеть человека, у которого книги зреют, как желуди на дубе… Так она говорит…

Неожиданно открывается дверь. Входит Людмила, бросает на кресло плащ и пакеты.

– А, знакомые лица! Извините за опоздание!

Ты пьешь чай вместе с Людмилой. Рядом должен быть Ирнерио, но его место почему-то пустует.

– Ведь Ирнерио только что был здесь. Куда он подевался?

– Наверное, вышел. Он приходит и уходит, не говоря ни слова.

– В твоем доме так принято?

– Почему бы и нет? Ты-то как сюда попал?

– Я и многие другие!

– Это что – сцена ревности?

– Разве у меня есть на нее право?

– А ты надеешься когда-нибудь его получить? Если так, лучше вообще не начинать.

– Что начинать?

Ты ставишь чашку и пересаживаешься на диван, где сидит Людмила.

Начинать. Это сказала ты. Читательница. Но как определить, когда именно начинается история? Все, как всегда, началось гораздо раньше. Первая строка первой страницы любого романа относит нас к чему-то, что уже произошло за пределами книги. А может, настоящая история начнется через десять или сто страниц, а все, что предшествует ей, – лишь предыстория. Жизни представителей человеческого рода непрерывно пересекаются, и всякая попытка обособить часть прожитого, имеющую смысл независимо от остального, – например, встречу двух человек, которой суждено стать для них решающей, – должна учитывать, что за каждым из них тянется целая череда фактов, обстоятельств, других людей и что после их встречи возникнут, в свою очередь, другие истории, которые отделятся от их общей истории.

Вы в постели, Читатель и Читательница. Пришла пора обратиться к вам во втором лице множественного числа; шаг весьма ответственный, ибо равноценен восприятию вас как единого субъекта. Я обращаюсь к вам, превратившимся в запутанный клубок с трудом различимых конечностей под смятой, перекрученной простыней. Возможно, потом вы разойдетесь кто куда, и наш рассказ снова примется усердно переключать рычаг повествования с «ты» женского рода на «ты» мужского. Но сейчас ваши тела сладострастно прильнули друг к другу; они передают и получают волнообразные колебания и толчки,

взаимодополняют полое полным; сейчас ваши мысли поглощены одной мыслью, и к вам можно обращаться как к нераздельному, двуглавому существу. Вначале следует определить поле деятельности или способ существования образованной вами двоицы. Куда ведет ваше обоюдное уподобление? Каков сквозной мотив ваших вариаций и модуляций? Вы изо всех сил стараетесь не растерять накопленную энергию, продлить состояние обостренной реакции, воспользоваться настойчивым желанием другого и увеличить свой заряд? Или без удержу осыпаете ласками ласок просящие и ласки дающие необозримые пространства друг друга; полностью растворяетесь в бесконечно осязаемой озерной глади собственной плоти? Так или иначе, один из вас существует лишь постольку, поскольку существует другой; чтобы ощутить вышеописанное, ваши созвучные «я» должны не упраздниться, а без остатка заполнить пустоты умственного пространства, выложиться с максимальной отдачей или исчерпаться до последней капли. Словом, все, творимое вами, прекрасно, но грамматически от этого ничего не меняется. С того момента, как вы предстаете неоспоримым, целостным «вы», вы оказываетесь двумя «ты», еще более разрозненными и обособленными, чем прежде.

(И это сейчас, когда вы заняты исключительно друг другом. Что же будет в недалеком будущем, когда посторонние до времени призраки станут посещать ваше сознание, сопровождая встречи ваших тел, испытанных привычкой.)

Читательница, теперь ты прочитана. Твое тело подвергается подробному прочтению через информационные каналы осязания, зрения, обоняния. Не без вмешательства вкусовых сосочков. Особая роль отведена слуху, внимающему твоему учащенному дыханию и вскрикам. Предметом чтения в тебе является не только тело. Тело значимо как часть некой суммы сложных элементов, не всегда видимых и не всегда наличествующих, но проявляющихся видимо и непосредственно – в поволоке твоих глаз, смехе, произносимых тобою словах; в том, как ты собираешь и распускаешь волосы, как берешь на себя инициативу и отступаешь; в приметах, граничащих между тобой и привычками, нравами, памятью, предысторией, модой; во всевозможных шифрах и простейших алфавитах, с помощью которых

представитель человеческого рода в определенных случаях полагает, что может прочесть другого представителя человеческого рода.

Впрочем, и ты, Читатель, являешься предметом чтения. Читательница производит смотр твоему телу, словно просматривает оглавление: она то вопьется в него быстрым, прицельным взглядом, то замедлит беглый осмотр, обращаясь к нему с вопросом и ожидая молчаливого ответа, как будто любое частичное освидетельствование интересует ее лишь ввиду более объемного, пространственного исследования. Она заостряет внимание на незначительных деталях, мелких стилистических погрешностях, скажем, на твоем выпирающем кадыке или на том, как ты ныряешь лицом в углубление над ее ключицей, – и пользуется этим, чтобы установить предел отчуждения, критической сдержанности или шутливой доверительности. Нечаянно открытая подробность оценивается чрезмерно: скажем, форма твоего подбородка или особенный твой укус в плечо. После такой завязки она пылко поглощает (вы пылко поглощаете) страницу за страницей, сверху донизу, не пропуская ни одной запятой. Получая удовольствие от того, как тебя читают, от текстуального цитирования твоей физической предметности, ты вдруг начинаешь сомневаться: а что, если она читает не тебя, единого и цельного, но, используя тебя, используя отрывки тебя, вырванные из контекста, создает себе фантасмагорического партнера, известного только ей, в сумерках ее полусознания, и то, что она распознает, есть апокрифический персонаж ее грез, а не ты?

От чтения письменного текста чтение любовниками своих тел (того концентрата духа и плоти, которым пользуются любовники, ложась в постель) отличается тем, что последнее не линейно. Оно начинается в любой точке, скачет, повторяется, обращается вспять, настойчиво топчется на месте, разветвляется на множество одновременных, самостоятельных сюжетов, вновь сходится в одной точке, надоедает, перескакивает на другую страницу, обретает утерянную нить, опять теряется. В нем можно обозначить направление, целеустремленность, понимаемую как устремленность к некоему апофеозу; в преддверии такой цели оно делается ритмичным, размеренным, наполняется чередующимися сюжетами. Является ли его целью именно апофеоз? Или продвижению к цели препятствует встречное желание восполнить мгновения, воссоздать время?

Если представить графическое изображение общего, то каждый отдельный эпизод со своей кульминацией потребовал бы трех-, а то и четырехмерной модели – никакой модели: всякий опыт неповторим. Больше всего совокупление и чтение схожи в том, что внутри их открываются пространства и время, отличные от времени и пространства, поддающихся измерению.

Уже в беспорядочной импровизации первой встречи прочитывается возможное будущее сожительство. Сегодня один из вас является предметом чтения другого. Каждый прочитывает в другом свою ненаписанную историю. Завтра, Читатель и Читательница, если вы будете вместе, если будете спать в одной постели, как и подобает ладящей, мирной паре, каждый зажжет в изголовье свою лампу и углубится в чтение своей книги: два параллельных чтения будут сопутствовать приближению сна; сначала ты, потом ты погасите свет; выходцы из разных вселенных, вы мимоходом окажетесь в темноте, где стираются всякие дали, прежде чем расходящиеся сны растащат тебя и тебя в разные стороны. Только не смейтесь над такой перспективой супружеской идиллии: сумеете ли вы предложить взамен более удачный образ счастливой пары?

Ты рассказываешь Людмиле о романе, который читал, поджидая ее в кафе.

– Тебе нравятся такие книги: с первой же страницы начинаешь испытывать какое-то беспокойство…

Людмила направляет на тебя вопросительный взгляд. Может, эту фразу насчет беспокойства ты услышал не от нее, а где-то вычитал… Может, Людмила уже и не верит, что тревога есть состояние истины… Может, кто-то доказал ей, что тревога – это тоже механизм, и ничто с такой легкостью не поддается фальсификации, как бессознательное…

– Мне, – замечает она, – нравятся книги, в которых какая угодно тайна или тревога проходят через точный, холодный, незамутненный ум, как у шахматиста.

– В общем, это история человека, на которого действуют телефонные звонки. Однажды во время утренней пробежки…

– Не рассказывай. Лучше дай почитать.

– Да я и сам недалеко продвинулся. Сейчас принесу. Встав с постели, ты идешь в другую комнату, где стремительная перемена твоих отношений с Людмилой нарушила размеренный ход событий. И не находишь книгу.

(Ты найдешь ее на художественной выставке – и последнем творении скульптора Ирнерио. Страница, уголок которой он загнул вместо закладки, покоится в одном из оснований монолитного параллелепипеда, склеенного и покрытого слоем прозрачного лака. Коричневатая, обожженная корка, словно пламя, вырывающееся изнутри книги, выгибает поверхность страницы, обнажая последующие слои, как в узловатой древесной коре.)

– Что-то не найду. Ну, не важно, – говоришь ты. – Ведь у тебя был другой экземпляр. Я думал, ты уже прочла…

Незаметно для нее ты входишь в тесную комнатушку и ищешь роман Флэннери с красной бумажной ленточкой.

– Вот она.

Людмила открывает книгу. Она с посвящением: «Людмиле… Сайлас Флэннери».

– Да, это мой экземпляр…

– Так ты знакома с Флэннери? – наигранно восклицаешь ты, как будто тебе ничего не известно.

– Знакома… Он подарил мне этот роман… Я была уверена, что книгу украдут до того, как я ее прочту…

– Кто, Ирнерио?

– Ну…

Настало время раскрыть карты.

– Книгу взял не Ирнерио. И ты это знаешь. Он бросил ее в маленькую комнатушку, где ты хранишь…

– Кто тебе разрешил там рыться?

– Ирнерио говорит, что человек, воровавший твои книги, тайком возвращается сюда и подменяет их фальшивками…

– Ирнерио сам ничего не знает.

– Зато я знаю: Каведанья давал мне письма Мараны.

– Все, о чем рассказывает Гермес, – сплошные выдумки.

– Кроме одной: он постоянно грезит тобой; он одержим образом читающей Людмилы…

– Именно этого он и не выносил.

Постепенно ты начинаешь докапываться до истоков хитроумных махинаций переводчика. Потайной пружиной, приводившей их в действие, была ревность к невидимому сопернику, который вечно вставал между ним и Людмилой, – молчаливому голосу, обращенному к ней из книг, тысячеликому и безликому призраку, к тому же и неуловимому, поскольку Людмила никогда не соотносит авторов с конкретными людьми из плоти и крови; для нее они существуют лишь в виде типографских страниц, как живые, так и мертвые, неизменно готовые общаться с ней, удивлять и соблазнять ее; а она, Людмила, безотказно следует за ними с переменчивой легкостью, какая может быть в отношениях с бесплотными существами. Как сокрушить не авторов, но роль автора, расхожее представление о том, что за каждой книгой стоит некто, ручающийся за истинность этого мира призраков и вымыслов лишь потому, что снабдил их собственной истиной, уподобил себя этой словесной конструкции? С самого начала, повинуясь велению своего вкуса и дарования, особенно с той поры, как испортились его отношения с Людмилой, Гермес Марана мечтал о литературе, целиком состоящей из апокрифов, ложных посылов, подделок и подлогов, мешанины и путаницы. Если бы этот замысел осуществился и постоянная неуверенность в личности пишущего не позволяла бы читателю с верой предаваться чтению – с верой не столько в то, о чем рассказывается, сколько в молчаливый голос рассказчика, – возможно, внешне здание литературы ничуть бы не изменилось… но внутри, в основании, там, где определяются отношения читателя с текстом, кое-что изменилось бы навсегда. Тогда Гермес Марана не чувствовал бы себя покинутым Людмилой, отдавшейся чтению; между ней и книгой все время маячила бы тень мистификации, а он, слипшись с любой мистификацией, окончательно утвердил бы свое присутствие.

Твой взгляд падает на начало романа.

– Но это не та книга, которую я читал… То же название, та же обложка, все то же самое… Но книга другая! Одна из них подделка.

– Еще бы не подделка, – роняет Людмила вполголоса.

– Потому что прошла через руки Мараны? Но и ту, что я читал, прислал Каведанье он! Выходит, они обе подделки?

– Только один человек откроет нам истину: автор.

– Вот и спроси у него. На правах друга…

– Бывшего друга.

– Ведь ты скрывалась от Мараны у него?

– Какая осведомленность!

Больше всего тебя бесит ее насмешливый тон. Решено, Читатель, ты поедешь к автору. А пока, повернувшись к Людмиле спиной, ты начинаешь читать новую книгу под старой обложкой.

(Хотя не совсем старой. Полоска «Последний бестселлер Сайласа Флэннери» загораживает предпоследнее слово названия. Достаточно приподнять ее, и ты видишь, что этот роман называется не так, как предыдущий – «В сети перекрещенных линий», а немного иначе – «В сети перепутанных линий».)

В сети перепутанных линий

Созерцать, мыслить. Всякая умственная деятельность отсылает меня к зеркалам. Согласно Плотину, душа есть зеркало, отражаясь в котором идеи высшего разума порождают материю. Возможно, именно поэтому для раздумий мне нужны зеркала. Я собираюсь с мыслями лишь в присутствии отраженных образов, словно моя душа нуждается в модели для подражания всякий раз, когда приводит в действие свои умозрительные, спекулятивные свойства. (Спекулятивные – в самом широком смысле этого слова, ведь «я одновременно мыслитель и делец, ну а кроме того – коллекционер оптических приборов.)

Стоит поднести глаз к калейдоскопу, как я чувствую, что моя мысль, повинуясь встречным движениям разнородных по цвету и форме осколков, составляющих правильные фигуры, мгновенно упорядочивается, и мне отчетливо приоткрывается непрочность стройной конструкции, распадающейся от легкого постукивания ногтем по стенке трубочки, дабы смениться новым узором, в котором те же разноцветные кусочки слагаются в иное единство.

Когда еще в отрочестве я осознал, что созерцание глазурных садов, кружащихся вихрем на дне зеркального колодца, воодушевляет мою склонность к практическим решениям и рискованным замыслам, я начал коллекционировать калейдоскопы. Сравнительно недолгая история этого устройства (калейдоскоп был запатентован в 1817 году шотландским физиком сэром Дейвидом Брюстером, сочинившим, помимо прочего, «A Treatise on New Philosophical Instruments» [4]) ограничивала мою коллекцию узкими хронологическими рамками. Однако вскоре я заинтересовался антикварной редкостью куда более ценной и впечатляющей: катоптрическими приборами семнадцатого века, миниатюрными театрами всевозможных видов, в которых фигура множится в зависимости от расположения зеркал. Я намерен восстановить музей, созданный иезуитом Афанасием Кирхером, автором «Ars magna lucis et umbrae» (1646) [5] и изобретателем «полидиптического театра», где около шестидесяти маленьких зеркал, вделанных внутрь большой шкатулки, превращали ветвь в дубраву, оловянного солдатика в войско, книжечку в библиотеку.

Перед началом заседаний я показываю мою коллекцию деловым партнерам: они смотрят на эти диковинки без особого интереса. Им и невдомек, что я воздвиг свою финансовую империю по принципу калейдоскопа и катоптрических приборов, умножая, как в зеркальном отражении, фирмы без капитала, наращивая кредиты, упраздняя чудовищные убытки в мертвом пространстве иллюзорных перспектив. Мой секрет, секрет моих непрерывных финансовых побед в то время, как повсюду бушевал кризис, биржу лихорадило, одна за другой лопались сотни компаний, был прост: я никогда не думал непосредственно о деньгах, сделках, прибыли, но лишь об углах отражения, образующихся между блестящими пластинами, установленными под разными углами.

Я хочу размножить собственный образ. Только не подумайте, что я страдаю манией величия или делаю это ради самолюбования. Напротив, среди несметного количества иллюзорных призраков самого себя я пытаюсь скрыть истинного себя, приводящего их в движение. Поэтому, если бы я не боялся быть неправильно понятым, я бы полностью облицевал зеркалами одну из комнат моего дома по проекту Кирхера и тогда мог бы ходить по потолку вниз головой и взмывать из глубин пола.

Эти строки призваны передать холодный блеск зеркальной галереи, в которой отражаются, переворачиваются и плодятся немногочисленные фигуры. Моя фигура расходится во все стороны, двоится на каждом стыке и ребре, чтобы сбить с толку моих преследователей. У меня тьма-тьмущая врагов, и я вынужден постоянно от них убегать. Думая, что настигли свою жертву, они поразят лишь стеклянную поверхность, на которой возникает и рассеивается одно из многих отражений моей вездесущей личности. Я и сам преследую моих несчетных врагов, неотвратимо надвигаясь на них бесконечными шеренгами и вставая на их пути, куда бы они ни направлялись. В отраженном мире враги полагают, будто взяли меня в кольцо, но только я один знаю расположение зеркал, и стоит мне захотеть – опять стану неуловим; они же будут натыкаться друг на друга, сбиваясь в беспорядочное стадо.

Пусть все это отразится в моем рассказе через подробности финансовых операций, эффектные сцены заседаний правления, панические телефонные звонки биржевых маклеров; через обрывки

карты города, страховые полисы, изящный ротик Лорны, когда она бросила ту фразу, задумчиво-непреклонный взгляд Эльфриды, мелькающее наложение разных лиц, сетчатую карту города, крапленую крестиками и стрелками, мотоциклы, удаляющиеся и пропадающие за краем зеркала, мотоциклы, сходящиеся на моем «мерседесе».

Когда я понял, что меня стремятся похитить не только банды профессиональных преступников, но и мои главные компаньоны и конкуренты в мире большого бизнеса, я сказал себе: у тебя один выход – размножиться, сделаться вездесущим, дать противникам как можно больше возможностей совершать покушение и тем самым уменьшить вероятность твоего захвата. Я заказал еще пять одинаковых «мерседесов». Целый день они выезжают из бронированных ворот моей виллы в сопровождении мотоциклетного эскорта телохранителей. В машине сидит неразличимая фигура в черном – я или один из моих двойников. Возглавляемые мною фирмы – это всего лишь названия: за ними ничего не стоит; они расположены в совершенно пустых, взаимозаменяемых помещениях; поэтому мои деловые совещания всегда проходят по разным адресам, а для пущей верности я каждый раз меняю их в самый последний момент. Гораздо щекотливее обстоит дело с моей внебрачной связью. Два, а то и три раза в неделю я встречаюсь с разведенной женщиной по имени Лорна. Ей двадцать девять лет. Обычно наша встреча длится два часа сорок пять минут. Для безопасности Лорны нужно было тщательно скрыть ее местонахождение. Тогда я стал назначать сразу несколько любовных свиданий, чтобы никто не понял, где моя настоящая любовница, а где фиктивные. Каждый день я и мои двойники наведывались в разное время на частные квартиры, разбросанные по всему городу: там их неизменно ждали привлекательные женщины. Сеть подложных любовниц позволяет мне скрывать настоящие встречи с Лорной и от моей жены Эльфриды, которой я представил всю эту подтасовку как необходимую меру предосторожности. Сама Эльфрида не особо прислушивается к моим советам создавать как можно больше шума вокруг ее передвижений, чтобы запутать преступные планы противника. Эльфрида стремится куда-нибудь спрятаться, старается избегать зеркал из моей коллекции, словно боится, что они разрушат

ее цельный образ. Я никак не могу понять глубинных причин такого поведения, и это меня немало беспокоит.

Описываемые подробности должны передать ощущение механизма высокой точности и одновременно быстро сменяющихся вспышек, относящих нас к чему-то, что остается вне поля зрения. Поэтому время от времени там, где сюжет уплотняется, мне не следует пренебрегать цитатами из какого-нибудь старинного текста, например, из «Magiae naturalis» [6] Джованни Баттисты делла Порта, в котором сказано, что волхв или «управитель Природы» должен (цитирую по итальянскому переводу Помпео Сарнелли, 1577) знать, «как ввести в заблуждение глаз, как узреть картины подводные, и в зерцалах всеразличных форм отраженные, и в воздухе иной раз висящие; и как ясно различить предметы на почтительном расстоянии».

Вскоре я обнаружил, что путаницы, создаваемой постоянными разъездами одинаковых автомобилей, недостаточно, чтобы развеять опасность вражеских засад. Тогда я задумал применить множительные свойства катоптрических приборов к самим гангстерам и организовал фиктивные покушения и фиктивные похищения некоего фиктивного меня с последующими фиктивными освобождениями после уплаты фиктивных выкупов. Для этого пришлось создать параллельную преступную банду, еще теснее связавшись с уголовным миром. Я получал достоверные сведения о действительно готовящихся похищениях и мог своевременно вмешиваться, чтобы уберечься самому, а заодно и воспользоваться бедами моих конкурентов.

Тут было бы уместно вспомнить, что зеркала, о которых ведется спор в старинных книгах, способны показывать предметы, отдаленные и невидимые простым глазом. Арабские географы Средних веков, описывая порт Александрию, упоминают о столпе, воздвигнутом на острове Фарос и увенчанном стальным зеркалом. В зеркале на огромном расстоянии видны суда, плывущие к Кипру, Константинополю и другим римским владениям. Если должным образом сфокусировать лучи, то на вогнутом зеркале можно уловить любое изображение. «Сам Господь Бог, не могущий быть узрим ни телом, ни душою, – пишет Порфирий, – дозволяет созерцать себя в зеркале». Пусть вместе с центробежными лучами, распространяемыми моим отражением по всей протяженности пространства, эти строки передадут и обратное движение, доносящее до меня из зеркал

отражения, которые не охватить прямым зрением. От зеркала к зеркалу – вот о чем я иногда мечтаю – все, что ни есть на этом свете, весь мир, божественная премудрость могли бы сфокусировать свои сияющие лучи в едином зеркале. Наверное, всеобщее знание похоронено в душе, и система зеркал, умножающих мое отражение до бесконечности и воссоздающих его сущность в одном отображении, явила бы мне всеобщую душу, сокрытую в моей душе.

В этом и ни в чем ином состоит могущество магических зеркал, о котором столько сказано в трактатах по оккультным наукам и анафемах инквизиции: заставить Князя Тьмы показаться и соединить его отображение с отражением в зеркале. Пришлось пополнить мою коллекцию новым видом. Я распорядился, чтобы крупнейшие антиквары и аукционы во всем мире держали для меня редкие экземпляры зеркал эпохи Возрождения, которые по форме и описанию могут быть причислены к разряду магических.

То была сложная партия. Любая ошибка могла дорого мне стоить. Первым неверным ходом было то, что я склонил моих врагов основать совместную страховую компанию. Я был уверен в надежности моих осведомителей из преступного мира и считал, что полностью оградил себя от неожиданностей. Вскоре я убедился, что новоиспеченные партнеры поддерживали с бандами похитителей куда более тесные связи, чем я. Выкуп за очередного похищенного должен был составить весь капитал страховой компании. Его намеревались поделить между собой гангстеры и акционеры компании, их сообщники. И все это, разумеется, за счет похищенного. Кто станет жертвой похищения – сомневаться не приходилось: я сам.

План налета заключался в следующем: между мотоциклами «хонда» моего эскорта и моей бронированной машиной вклиниваются три мотоцикла «ямаха», управляемые переодетыми в полицейскую форму налетчиками: перед поворотом они резко затормозят. По моему контрплану за полкилометра до поворота мой «мерседес» остановят три мотоцикла «сузуки». Когда же еще раньше меня заблокировали три мотоцикла «кавасаки», я понял, что мой контрплан сорван чьим-то контрконтрпланом.

Словно в калейдоскопе, распадаются предположения, которые я хотел бы запечатлеть в этих строках. Точно так же расчерчивалась и дробилась на моих глазах карта города. Я разделил ее на квадраты для

того, чтобы, во-первых, обозначить перекресток, на котором, судя по донесениям осведомителей, будет расставлена засада; во-вторых, чтобы определить точку, в которой я мог бы опередить моих противников и обернуть их план в мою пользу. Казалось, все было выверено до мелочей: магическое зеркало, соединив все свои колдовские чары, предоставило их в мое распоряжение. Я не учел лишь третьего плана похищения, разработанного неизвестными лицами. Кем?

К моему великому удивлению, вместо того чтобы отвести добычу в укромное местечко, похитители препровождают меня в мой собственный дом и запирают в катоптрической комнате, столь тщательно воссозданной мною по чертежам Афанасия Кирхера. Зеркальные стены отбрасывают бесконечное число моих отражений. Неужели я похищен самим собой? Или одно из моих отражений, выпущенное в свет, заняло мое место и приписало мне роль самого отражения? А может, вызванный мною Князь Тьмы предстал передо мной в моем же облике?

На зеркальном полу распласталась связанная женщина. Это Лорна. При каждом движении ее обнаженное тело расползается, повторенное во всех зеркалах. Бросаюсь к ней, чтобы освободить от пут и кляпа, прижать к себе, но она оборачивается в ярости:

– Думаешь, я в твоих руках? Ошибаешься! – и впивается острыми ногтями мне в лицо.

Она в плену вместе со мной? Она моя пленница? Она и есть мой плен?

Открывается дверь. В комнату входит Эльфрида.

– Я знала, что ты в опасности, и сумела тебя спасти, – говорит она. – Прости, что получилось грубовато, но у меня не было выбора. Ну вот, а теперь я запуталась в этой зеркальной клетке. Где же дверь? Скорее, как отсюда выйти?

Глаз и бровь Эльфриды, ее нога в облегающем сапоге, уголок рта, тонкие губы, ослепительно белые зубы, рука с кольцом, сжимающая револьвер, увеличенно размножены зеркалами; искривленные части ее фигуры перемежаются с беспорядочными обрывками тела Лорны, образующими пейзаж из живой плоти. Я не в состоянии различить, где начинается одна и кончается другая; я растерялся, кажется, что я потерял самого себя; я не вижу собственного отражения; повсюду

только они. У Новалиса очарованный юноша находит священную обитель Изиды и приподнимает блестящий покров богини… Сейчас мне чудится, что все вокруг есть часть меня самого, что я сумел стать всем, наконец-то…

Глава восьмая

Из дневника Сайласа Флэннери

Уединенный домик в горной долине. На веранде шезлонг. В шезлонге молодая особа. Она читает. По утрам, прежде чем сесть за работу, некоторое время смотрю на нее в подзорную трубу. Воздух здесь чист и прозрачен. В этой неподвижной фигуре я точно улавливаю скрытое от взора движение. Чтение. Скользит по строчкам взгляд, следом поспевает дыхание. Скользят слова: текут и приостанавливаются, бурлят и сочатся. Замирают. Внимание то возрастает, то ослабевает. Чтение обращается вспять. Внешне плавное и однообразное, его течение оказывается переменчивым и строптивым.

Признаться, я уже не помню, когда читал просто так. Листаю чью-то книгу, а думаю только о том, что должен написать сам. Оборачиваюсь к письменному столу. Он ждет. В машинку заправлен лист бумаги. Главе не терпится начаться. С тех пор как я стал невольником писания, чтению ради удовольствия наступил конец. Все, что я делаю, я делаю ради того душевного состояния, в котором пребывает сейчас молодая особа в шезлонге, выхваченная оптическими стеклами моей подзорной трубы. Мне это состояние, увы, заказано.

По утрам, прежде чем сесть за работу, я смотрю на особу в шезлонге. Благодаря сверхъестественным усилиям, предпринимаемым мною во время писания, эта женщина начинает дышать, говорю я себе. Процесс чтения становится для нее естественным процессом. Течение фраз проходит через порог внимания, ненадолго задерживается, пока не впитается ее сознанием и не растворится, обратившись в одной лишь ей присущие грезы и непередаваемые образы.

Временами меня охватывает нелепое желание: вот если бы она читала сейчас именно то, что я только собираюсь написать. Эта мысль настолько соблазнительна, что я начинаю в нее верить. Быстро записываю фразу, бросаюсь к окну, навожу подзорную трубу и смотрю, как отзывается написанное мной в ее взгляде, изгибе губ, в том, как

она закуривает, усаживается поудобнее, скрещивает или вытягивает ноги.

Временами кажется, что между тем, что я пишу, и тем, что она читает, – неодолимый путь. Что бы я ни написал, все выглядит натужно и несуразно. Выступи моя писанина на гладкой поверхности страницы, которую она читает, – это было бы как ножом по стеклу: она наверняка зашвырнула бы книгу куда подальше.

Временами начинаю верить, что молодая особа читает поистине *мою* книгу. Я давно уже должен ее написать, только чувствую, что так никогда и не напишу. Вот она, эта книга – от начала до конца, – лежит себе на дне подзорной трубы; но я не могу разобрать, что там написано, не могу узнать, что написал тот я, которым я не сумел и не сумею стать. Бесполезно снова садиться за письменный стол, силиться разгадать и записать мою настоящую книгу, прочитанную ею: что бы я ни написал, все это будет грубой подделкой моей настоящей книги, которую никто, кроме нее, не прочтет.

А что, если подобно тому, как я навожу подзорную трубу на нее, когда она читает, молодая особа наводит подзорную трубу на меня, когда я пишу? Сажусь за письменный стол спиной к окну и чувствую, что на меня смотрят. Заплечный взгляд вбирает в себя поток слов, уносит повествование по неизвестному мне руслу. Читатели – это мои вампиры. Чувствую, как стая читателей склонилась надо мной и впивается взглядом в слова, еще не застывшие на бумаге. Не могу писать, когда на меня смотрят. Тогда написанное перестает быть моим. Хочется исчезнуть, оставить их алчным взглядам лист, заправленный в пишущую машинку. На худой конец, пусть пожирают глазами мои пальцы, тюкающие по клавишам.

* * *

Как дивно бы я писал, если бы меня не было! Если бы между чистым листом бумаги и клокотанием слов и сюжетов, обретающих форму и тающих, так и не дождавшись своего запечатления, не возникало бы это обременительное средостение, сиречь я сам! Мой слог, мой вкус, мои убеждения, моя самость, моя культура, мой

жизненный опыт, мой склад души, мой дар, мои излюбленные приемы – все, что делает узнаваемым мое писание, мнится мне тесной клеткой. Будь я просто рукой, обрубком, способным лишь водить пером… кто двигал бы этой рукой? Безликая толпа? Дух времени? Коллективное бессознательное? Не знаю. Я думаю о самоупразднении не для того, чтобы стать глашатаем определенного умонастроения. Единственная моя цель – передать на письме описуемое, ожидающее своего описания; рассказать то, о чем никто не рассказывает.

Молодая особа, которую я рассматриваю в подзорную трубу, наверное, *знает,* о чем я должен написать. Точнее, *не знает* и ждет, когда я напишу то, чего она *не знает.* Она лишь чувствует пустоту ожидания. Пустоту, которую должны заполнить мои слова.

Временами я думаю о содержании еще не написанной книги как о чем-то уже существующем. Это передуманные мысли, произнесенные реплики. Все, что должно было произойти, – произошло; в известных местах и при известных обстоятельствах. Выходит, книга – это не что иное, как письменное отображение неописанного мира. А иногда мне кажется, что ненаписанная книга и существующий в реальности мир как бы взаимодополняются. Тогда книга становится описанной, оборотной стороной неописанного мира. Ее содержание – это то, чего нет и не может быть до тех пор, пока не будет описано; и в том, что есть, без этого подспудно ощущается пустота и незавершенность.

Словом, я так или иначе хожу вокруг мысли о взаимозаменяемости неописанного мира и книги, которую должен написать. Именно поэтому писание представляется мне делом настолько тяжким, что может попросту раздавить меня. Подношу подзорную трубу к глазу и направляю на читательницу. Перед ее лицом, над книгой, порхает капустница. Что бы она сейчас ни читала, ее вниманием всецело владеет бабочка. Неописанный мир находит в этой бабочке свое наивысшее выражение. Делаю вывод, что и я должен стремиться к некой точности, собранности, легкости.

В очередной раз взглянув на особу в шезлонге, я вдруг захотел писать «с натуры»; иными словами, писать не ее, а то, как она читает; писать все что угодно, лишь бы это проходило через ее чтение.

Вот и на мою книгу села бабочка. И снова хочется писать «с натуры», теперь уже всматриваясь в бабочку. Скажем, описать зверское убийство, но так, чтобы оно «походило» на бабочку, выглядело бы таким же изящным и легким, как бабочка.

Я мог бы описать и бабочку, но помня о сцене зверского убийства. Тогда бабочка превратилась бы в нечто чудовищное.

Сюжет для рассказа. Два писателя живут каждый в своем доме по обе стороны горной долины и подглядывают друг за другом. Один писатель привык работать по утрам; другой – по вечерам. Утром или вечером тот из них, кто не пишет, наводит подзорную трубу на того, кто пишет.

Один писатель строчит без остановки; другой все время мучается. Тот, что мучается, смотрит на того, что строчит, и видит, как он заполняет листы ровными строчками; рукопись на глазах складывается в пухлую, ладную кипу. Вот и готова книга: наверняка новый бестселлер, думает писатель-мученик с презрением и одновременно с завистью. Он считает плодовитого писателя ремесленником-борзописцем, потакающим дешевому вкусу толпы. И все же он не в силах подавить в себе белую зависть к этому человеку, который самовыражается с такой невозмутимой уверенностью. Впрочем, писатель-мученик не только завидует, но и восхищается. Да-да, восхищается. И притом вполне искренне. Вдохновение, которое собрат по перу вкладывает в свое писание, несомненно, говорит о его широкой натуре; он верит в существование связующих нитей между людьми и потому дает им то, чего они от него ждут, а не занимается самокопанием. Писатель-мученик отдал бы все, лишь бы хоть в чем-то походить на плодовитого писателя. Несчастный готов во всем ему подражать. Заветная его мечта – стать таким, как он.

Плодовитый писатель тоже наблюдает за писателем-мучеником и видит, как тот усаживается за письменный стол, грызет ногти, почесывается, рвет лист бумаги, идет на кухню, пьет кофе, потом чай, потом ромашковый отвар, потом читает стихотворение Гёльдерлина (хотя ясно, что Гёльдерлин не имеет ни малейшего отношения к тому, что он пишет), переписывает набело страницу, потом зачеркивает строчку за строчкой, звонит в химчистку (хотя известно, что его синие брюки будут готовы не раньше четверга), делает кое-какие пометки:

сейчас они ему не нужны, зато когда-нибудь, глядишь, пригодятся; раскрывает энциклопедию на статье «Тасмания» (хотя понятно, что в его вещи нет и в помине никакой Тасмании), рвет два листа бумаги, ставит пластинку Равеля. Плодовитому писателю никогда не нравились книги писателя-мученика. Читаешь, и кажется, вот-вот доберешься до сути. Не тут-то было: суть ускользает, и становится немного не по себе. Однако сейчас он своими глазами видит, как работает писатель-мученик. И понимает, что этот человек борется с некой темной силой, страшной громадой: прокладывает дорогу почти вслепую, даже не зная, куда она приведет. Ему чудится, что писатель-мученик идет по проволоке, натянутой над пропастью, – и он начинает восхищаться им. Не только восхищаться, но и завидовать, ибо чувствует, сколь поверхностно и куце то, что делает он, в сравнении с исканиями писателя-мученика.

На открытой веранде уединенного домика в горной долине загорает молодая особа с книгой. Оба писателя наблюдают за ней в подзорную трубу. «Как она сосредоточенна! Аж дыхание затаила! Как судорожно переворачивает она страницы! – думает писатель-мученик. – Наверняка у нее какой-нибудь сногсшибательный романец того, плодовитого!» «Как она сосредоточенна! Прямо вся преобразилась! Как будто сейчас перед ней откроется величайшая тайна! – думает плодовитый писатель. – Наверняка у нее какой-нибудь закидонистый романище того, мученика!»

Сокровенная мечта писателя-мученика – чтобы его книги читали так, как читает сейчас эта молодая особа. Он принимается за работу и пробует писать так, как, по его мнению, написал бы плодовитый.

Сокровенная мечта плодовитого писателя – чтобы его книги читали так, как читает сейчас эта молодая особа. Он принимается за работу и пробует писать так, как, по его мнению, написал бы мученик.

С молодой особой знакомится вначале один писатель, потом другой. Каждый предлагает ей прочитать свой только что законченный роман.

Особа получает рукописи. Через некоторое время она приглашает к себе обоих авторов. К их удивлению – вместе.

– Это что, розыгрыш? – спрашивает она. – Вы дали мне два экземпляра одного и того же романа!

Или, скажем, так:

Молодая особа перепутала рукописи. Она возвращает плодовитому роман мученика, написанный в манере плодовитого; а мученику – роман плодовитого, написанный в манере мученика. Обнаружив подмену, оба приходят в бешенство и понимают, что надо оставаться самими собой.

Или так:

Внезапный порыв ветра – и рукописи перемешиваются. Читательница пробует их сложить. И получается превосходный роман. Критики ломают голову над его авторством. Именно о таком романе мечтали и плодовитый, и мученик.

Или так:

Молодая особа всегда была страстной поклонницей плодовитого писателя; а писателя-мученика просто терпеть не могла. Читает она как-то новый роман плодовитого и понимает, что это сплошная лажа; да и все, что он раньше накатал, – тоже сплошная лажа. Зато книги мученика кажутся ей теперь полным восторгом. Особа ждет не дождется его нового романа. Однако роман оказывается совсем не таким, как она думала. Тогда молодая особа посылает ко всем чертям и писателя-мученика.

Или так:

Все то же самое, только «плодовитого» заменить на «мученика», а «мученика» – на «плодовитого».

Или так:

Молодая особа всегда была страстной поклонницей плодовитого писателя и т. д. и т. п. А писателя-мученика она просто терпеть не могла. Читает она новую вещь плодовитого: роман как роман, ей нравится – в общем, ничего особенного. Рукопись мученика, в свою очередь, кажется ей пресной, невыразительной, как и все у этого автора. В разговоре с писателями она отделывается ничего не значащими фразами. И тот и другой приходят к выводу, что читает она небрежно, и решают выкинуть ее из головы.

Или так:

Все то же самое, только заменить и т. д. и т. п.

Я где-то прочел, что объективность мысли можно выразить с помощью глагола «думать» в неопределенно-личной форме, то есть сказать не «я думаю», а «думается» – все равно как безличное

«морозит». Вселенная исполнена мыслью. Об этом нужно неизменно помнить.

Скажу ли я когда-нибудь: «сегодня пишется», все равно как «сегодня морозит» или «сегодня моросит»? Лишь после того, как я начну, не задумываясь, употреблять глагол «думать» в неопределенно-личной форме, можно надеяться, что через меня выразится нечто менее ограниченное, чем отдельно взятая личность.

А как быть с глаголом «читать»? Скажут ли когда-нибудь «сегодня читается», как говорят «сегодня морозит»? Если вдуматься, чтение – дело сугубо личное; куда более личное, чем писание. Допустим, писанию удалось преодолеть ограниченность автора, но оно будет иметь смысл только тогда, когда его прочтет и пропустит через свое сознание некая другая личность. Это будет единственным доказательством того, что написанное обладает истинной мощью писания, мощью, основанной на чем-то выходящем за пределы отдельной личности. Вселенная будет самовыражаться до тех пор, пока кто-то сможет сказать: «Я читаю, значит, пишется».

Это особое блаженство я улавливаю на лице читательницы. Мне его уже не испытать.

Над моим столом висит плакат. Чей-то подарок. На плакате изображен щенок Снупи. Он сидит за пишущей машинкой. Над ним, в облачке комикса, начертано:

«Однажды темной ненастной ночью». Всякий раз, садясь за стол, я читаю: «Однажды темной ненастной ночью». Этот безличный зачин как бы приоткрывает лазейку из одного мира в другой: из времени и пространства теперешних во время и пространство написанной страницы. За таким манящим зачином может последовать неисчерпаемое множество продолжений. Вновь убеждаюсь, что нет ничего лучше избитого начала, расхожей завязки, после которой ждешь всего и ничего. Впрочем, моему бобику-графоману ни за что не прибавить к первой четверке слов еще дюжину или полдюжины, не разрушив при этом их изначального волшебства. Попасть в другой мир только с виду легко: кидаешься к столу писать, предвкушая наслаждение… а на чистом листе бумаги отверзается пустота.

С того дня, как передо мной возник этот плакат, работа идет из рук вон плохо. Взять бы да и сорвать со стены проклятого щенка. Не

хватает духу. Нелепая шапка отражает мое состояние, предостерегает и подстегивает меня.

Чистое очарование, наполняющее первые фразы первой главы великого множества романов, неотвратимо развеивается по ходу повествования. Перед нами зазывно простирается время, уготованное для чтения; время, в течение которого может произойти любой поворот событий. Неплохо бы написать целую книгу как единый зачин; до самого конца в ней ощущались бы мощь и свежесть зачина, ожидание чего-то, что еще впереди. Но как построить такую книгу? Может, оборвать ее на первом же абзаце? Или до бесконечности продлить вступительную часть? Или вплести начало одного сюжета в другой, как в «Тысяче и одной ночи»?

Сегодня решил переписать начало знаменитого романа. Быть может, заключенная в нем энергия передастся моей руке. И тогда, получив нужный заряд, она сама довершит остальное.

В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту.

Перепишу и второй абзац. Без него меня не увлечет поток повествования:

Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой. Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. И так далее, до: *Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться.*

Следующая фраза настолько притягательна, что, не удержавшись, переписываю и ее: *Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию.* Коли на то пошло, можно переписать весь абзац, даже несколько страниц, до того места, когда главный герой является к старухе процентщице. *«Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц», – поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее.*

Останавливаюсь, чтобы не поддаться соблазну переписать все «Преступление и наказание». На мгновение мне открывается чарующий смысл невообразимого ныне ремесла переписчика.

Переписчик жил одновременно в двух временны́х измерениях – чтения и писания. Он мог писать, не боясь, что под его пером обнажится пустота. Он мог читать, не боясь, что прочитанное примет вещественный облик.

* * *

Ко мне наведался какой-то тип, утверждавший, будто он мой переводчик. По его словам, за наш – мой и его – счет наживаются мошенники, выпускающие пиратские переводы моих книг. В доказательство он предъявил книгу. Я, конечно, ее полистал, да что толку: книга была на японском. Латинскими буквами на титульном листе были выведены мои имя и фамилия.

– Ничего не понимаю. Вы говорите, это моя вещь? Но какая именно? – спросил я, возвращая ему книгу. – Я, знаете ли, по-японски не разбираю.

– Даже если бы разбирали, боюсь, вы не узнали бы в ней собственной вещи, – ответил гость. – Дело в том, что этой книги вы никогда не писали.

Он пояснил, что умение японцев в точности имитировать европейские товары распространилось и на литературу. Какая-то фирма в Осаке раскрыла формулу романов Сайласа Флэннери. Она выпускает нигде ранее не издававшиеся, первоклассные книги этого автора и способна наводнить ими весь мир. В обратном переводе на английский (точнее, просто в переводе на английский, с которого книги якобы переведены на японский) даже самый придирчивый критик не отличит их от настоящего Флэннери.

Услышав о такой дьявольской афере, я просто обомлел. Что и говорить: есть от чего прийти в бешенство. Как-никак – моральный и материальный ущерб. Но не это главное. Я с содроганием чувствую, как неудержимо притягивают меня эти подделки, эти нежданные ростки моего собственного я, пустившие корни в почве чужой культуры. Мигом представляю себе старого японца, одетого в кимоно: он неторопливо идет по горбатому мостику. Это я сам в облике японца. Он придумывает один из моих сюжетов и в конце концов сливается со мной, воплощая духовные искания, совершенно мне чуждые. Конечно,

липовые Флэннери, сфабрикованные ловкими аферистами из Осаки, суть не что иное, как дешевые подделки. Но одновременно в них, возможно, заложена некая сокровенная, утонченная премудрость, которой начисто лишены подлинные Флэннери.

Разумеется, при постороннем ни к чему выдавать мои двоякие чувства, так что я сделал вид, будто хочу собрать нужные факты и подать в суд.

– Мошенники, аферисты! На всех подам в суд! И на них, и на их пособников! Я им покажу, как подделывать чужие книги! – воскликнул я, многозначительно глядя на переводчика. Мне вдруг подумалось, что этот парень тоже замешан в гнусной махинации. Он назвался Гермесом Мараной. Раньше я о таком не слыхал. Голова у него как дыня: лежит поперек плеч, вроде дирижабля, и много чего скрывает за выпуклым лбом.

Я полюбопытствовал, где он живет.

– Пока в Японии, – ответил он.

Он негодует, что с моим именем могли так обойтись. Надо, мол, прижать к ногтю этих проходимцев. Он готов помочь. Хотя, добавляет Марана, особо расстраиваться нечего. По его мнению, литература тем и ценна, что в ней силен дух мистификации. Именно в мистификации проявляется истинная литература. А подделка – это мистификация мистификации, стало быть, истина в квадрате.

На сей счет у него имеется целая теория. Оказывается, любой автор – это вымышленный персонаж, плод воображения настоящего Автора, приписавшего ему авторство своих вымыслов. Вполне разделяю многие его мысли, но стараюсь этого не показывать. Он утверждает, что заинтересовался мной по двум причинам. Во-первых, потому, что такого автора, как я, легко подделать. Во-вторых, потому, что такой автор, как я, наделен всеми свойствами великого фальсификатора и может создавать безукоризненные апокрифы. Следовательно, я воплощаю идеального автора, который растворяется в дымке вымысла, застилающей мир плотной пеленой. А поскольку изощренный вымысел представляется ему первоосновой всего сущего, то и автор, создавший безупречную систему вымыслов, сам становится всем сущим.

Вчерашний разговор с этим Мараной никак не идет у меня из головы. Я тоже хотел бы отмереть, найти для каждой книги меня другого, другое лицо, другое имя, родиться заново. Но не это мне нужно. Я стремлюсь запечатлеть в книге нечитаемый мир. Мир без опоры, мир без я.

* * *

Вполне допускаю, что таким всеобщим писателем может оказаться ничем не примечательная личность.

В Америке их называют ghost-writer – писатель-призрак. Общепризнано, что профессия эта полезная, только не очень-то престижная: безымянный редактор. Он придает форму книги рассказам других людей, которые не умеют или не успевают писать сами. Он словно самописка, облекающая в слово жизни, которым некогда жить. Сдается, это и было моим истинным призванием. Было – да сплыло. А ведь я мог бы размножить мои я, прибавить к ним чужие я, измыслить я, противоположные моему я и прочим я.

Если книга вмещает лишь истину отдельной личности, наверное, стоит написать такую книгу и высказать в ней свою истину. Это будет книга воспоминаний? Вряд ли. Воспоминания истинны, покуда их не выразишь словами, не ограничишь рамками формы. Или книга желаний? Но и желания истинны только тогда, когда возникают независимо от моей осознанной воли. Единственная истина, которую я могу описать, – это истина проживаемого мною мгновения. Пожалуй, моя истинная книга и есть этот дневник. В нем я пытаюсь передать образ молодой особы, сидящей в шезлонге в разное время дня и при разном освещении.

Не проще ли признать, что за моим недовольством кроется излишнее высокомерие, если не мания величия? Перед писателем, решившим самоупраздниться, дабы зазвучало то, что вне его, открываются два пути: написать книгу, пусть одну-единственную, но такую, в которой исчерпалось бы все и вся; или написать все книги и попытаться отобразить все и вся по крупицам, разбросанным в каждой книге. Единственная книга, содержащая все и вся, была бы не чем

иным, как Священным Писанием, вселенским словом откровения. Думается, однако, что вселенскость не выразить средствами только языка. Для меня главное то, что пребывает вовне, ненаписанное, неописуемое. Остается один путь – написать все книги, написать книги всех авторов вообще.

Размышляя о моей единственной книге, я упираюсь в вопросы о том, какой должна быть эта книга и какой не должна. Зато, когда думаю, что пишу целую библиотеку, сразу становится легче. Я знаю: что бы я ни написал, все это будет дополнено, опровергнуто, уравновешено, расширено, погребено под сотнями томов, которые мне предстоит написать.

Упомянув о священных книгах, замечу попутно, что лучше всего известно, как был написан Коран. Между вселенскостью и книгой было по меньшей мере два посредника: Мухаммед внимал слову Аллаха и в свою очередь диктовал его переписчикам. Однажды, говорится в житиях Пророка, Мухаммед диктовал заветные слова писцу по имени Абдалла. Внезапно он прервался на полуфразе. Писец непроизвольно докончил ее. В рассеянности Пророк согласился. Получилось, что слово Божье было сказано Абдаллой. Возмущенный писец покинул Пророка и разуверился.

И совершил ошибку. В конечном счете построением фразы занимался именно он. Именно ему полагалось выверять слог, следить за связностью письменной речи, чтобы привнести в нее текучесть мысли, наполняющей любой язык, прежде чем отлиться в слово, в текучесть слова, особенно такого, как слово Пророка. С той минуты как Аллах решил явить себя в письменном тексте, ему понадобилась помощь писца. Мухаммед это знал и предоставил писцу почетное право заканчивать фразы. Но Абдалла так и не уяснил, какой властью его наделили. Он потерял веру в Аллаха, потому что не верил в силу писания, не верил в самого себя, как сотворца писания.

Если бы неверному позволили выдвигать собственные версии сказаний о Пророке, я предложил бы такую: Абдалла записывает под диктовку и ошибается. Мухаммед замечает ошибку, но не исправляет ее, находя, что с ошибкой вышло удачнее. Как бы то ни было, Абдалла теряет веру в Аллаха. Однако и в этом случае Абдалла зря возмущается. Только на странице – и никак не раньше – слово, пусть

даже изреченное в пророческом экстазе, обретает завершенность, становится писанием. Только через ограниченность совершаемого нами письменного акта, то есть через погрешности в написании слов, оплошности, ляпсусы, каракули и закорючки начинает прочитываться бесконечность ненаписанного. Иначе то, что вне нас, не стало бы прибегать к слову – устному или письменному. Оно объявило бы о себе как-нибудь еще.

А вот и капустница. Вспорхнула с книги читательницы, перелетела через долину и опустилась на недописанный лист.

Кого только не встретишь в здешних краях. Литературные агенты поджидают мой новый роман, за который уже получили аванс в крупнейших издательствах мира. Рекламные агенты хотят, чтобы мои герои носили такие-то фасоны одежды и пили такие-то фруктовые соки. Программисты силятся закончить на компьютере мои незаконченные вещи. Стараюсь выходить как можно реже. Деревню обхожу стороной. Гуляю по горным тропинкам.

Сегодня набрел на стайку ребятишек. С виду бойскауты – восторженные и одновременно дотошные. Носятся по лугу с какими-то полотнищами и растягивают их в форме геометрических фигур.

– Подаете знаки самолетам? – поинтересовался я.

– Нет, летающим тарелкам, – отвечают они. – Мы наблюдаем за неопознанными объектами. Здесь у них что-то вроде воздушного коридора. В последнее время им частенько пользуются. Говорят, это все из-за одного писателя. Он поселился где-то рядом. Через него инопланетяне хотят вступить в контакт.

– С чего это вы взяли? – спрашиваю.

– С того, что этот писатель давно уже ничего не пишет. Никак не сдвинется с мертвой точки. Во всех газетах спорят, в чем тут дело. По нашим расчетам, инопланетяне нарочно не дают ему работать, чтобы он отучился от земных привычек и смог вступить в контакт.

– А почему выбор пал именно на него?

– Инопланетяне не имеют права на прямой контакт. Вот им и приходится искать обходные пути. Например, через всякие там рассказы или романы, которые вызывают необычные ощущения. А этот писатель как раз классно пишет. Да и на выдумки горазд.

– Сами-то вы его читали?

– Все, что он до сих пор накатал, не имеет значения. Главное – что он напишет в следующей книге. После того как сдвинется с мертвой точки. Может, в ней и будет послание из космоса.

– Как же он его получит?

– Передача мыслей на расстоянии. Он и не почувствует. Будет думать, что на него нашло вдохновение. А на самом деле запишет послание из космоса. Послание передадут инопланетяне. Они настроятся на волны его мозга.

– И вы расшифруете послание?

Они не ответили.

* * *

При мысли о том, что мои юные друзья так и не дождутся желанного контакта с инопланетянами, становится немного досадно. Собственно говоря, почему бы в следующей книге не придумать что-нибудь такое, что они приняли бы за долгожданное послание из космоса? Пока не знаю, как это у меня получится. Вот сяду писать и соображу.

А что, если все именно так, как они говорят? Что, если мне только кажется, будто я пишу сам по себе, а на самом деле – под диктовку инопланетян?

Жду не дождусь знака из галактики. Роман застрял. Если прямо сейчас начну строчить страницу за страницей, значит, инопланетяне направляют мне свои послания.

Пока меня хватает только на то, чтобы вести этот дневник и наблюдать за молодой особой, читающей какую-то книгу. Какую – загадка. Возможно, послание из космоса содержится в моем дневнике? Или в ее книге?

Ко мне пожаловала девица, готовящая доклад о моем творчестве для представительного, как она выразилась, университетского семинара. Видно, в моих книгах она находит наглядное подтверждение своих теорий. Это, конечно, о многом говорит. Вот только не знаю – в пользу книг или теорий? Из ее речей, весьма обстоятельных, я понял, что

поработала она основательно. Правда, в ее восприятии мои книги стали совсем неузнаваемыми. Не сомневаюсь, что эта Лотария (так ее зовут) прочла их вполне добросовестно. Однако сдается мне, что читала она с единственной целью найти доказательство того, в чем была уверена еще до чтения.

Попробовал высказать ей все это. Она парировала запальчиво:

– А что, в ваших книгах нужно читать только то, в чем уверены вы?

– Отнюдь, – ответил я. – Я-то как раз жду, что читатели откроют в моих вещах то, чего я и не знал. Впрочем, этого можно ожидать от тех читателей, которые сами ожидают прочесть нечто такое, чего они не знают.

(Хорошо, что я смотрю в подзорную трубу на ту молодую особу с книгой. Значит, не все читатели таковы, как эта Лотария.)

– Вы ратуете за пассивное, уклончивое, упадническое чтение, – заметила Лотария. – Так читает моя сестра. Она не задумываясь поглощает книги Сайласа Флэннери. Вот я и решила построить свой доклад именно на них. Если хотите знать, я для того и проштудировала все ваши опусы, мистер Флэннери, чтобы показать сестре, как следует читать любого автора. Даже Сайласа Флэннери.

– За «даже» спасибо. А почему вы пришли без сестры?

– Людмила считает, что с авторами лучше не знакомиться. Реальное лицо никогда не соответствует представлению, составленному о нем во время чтения.

Наверное, Людмила могла бы быть моей идеальной читательницей.

Вчера вечером, войдя в кабинет, я увидел, как из окна выпрыгнула тень незнакомца. Кинулся было вдогонку, но его и след простыл. Часто, особенно по ночам, мне кажется, что в кустах около дома кто-то прячется.

Выхожу крайне редко. И все равно такое впечатление, что в моих бумагах роются. Из рукописей не раз исчезали страницы. Через несколько дней они снова оказывались на месте. Иногда просто не узнаю собственного текста. Как будто начисто его забыл. Как будто изо дня в день настолько меняюсь, что уже не узнаю самого себя в себе вчерашнем.

Я спросил у Лотарии, прочла ли она книги, которые брала у меня. Нет, не прочла. У нее с собой нет компьютера для обработки текста.

Имея нужную программу, объяснила она, за считанные минуты можно прочесть целый роман и составить частотный список всех слов. «Тогда я сразу получаю прочитанный текст. Бесценная экономия времени. Ведь, читая, мы, в сущности, следим за чередованием сюжетов, повторяемостью форм и значений, не так ли? Компьютерная считка дает мне частотный список. Я просматриваю его и понимаю, что можно взять для себя из данной книги. Естественно, чаще всего употребляются артикли, местоимения, частицы. На них я не обращаю внимания. Главное – значимые слова. По ним я и составляю довольно точное представление о книге».

Лотария принесла компьютерные считки нескольких книг. Это списки слов по частотности их употребления.

– Возьмем книги, в которых пятьдесят – сто тысяч слов, – сказала Лотария. – Советую обратить внимание на слова, повторяющиеся около двадцати раз. Вот, взгляните – эти слова употреблены девятнадцать раз:

вместе, вперед, выстрелы, давай, есть, жизнь, зубы, командир, кровь, отвечать, паук, портупея, твоя, точно, часовой, ясно…

А эти – восемнадцать раз:

брюхо, вечер, здорово, картошка, мертвый, настает, новый, пилотка, покуда, пошел, пройдет, ребята, те, точка, француз, хватит…

– Вы уже догадались, о чем речь? – спрашивает Лотария. – Книга, конечно, о войне. Сплошное действие, сухой язык, жестковатый стиль, сцены насилия. Весь сюжет как на ладони. Для убедительности полезно заглянуть в перечень слов, употребленных только раз. Хотя от этого они не менее значимы. Ну, скажем, такой ряд:

панталоны, платье, подвал, поджарый, подземелье, подземный, подкоп, подрыв, подрывной, поляна, потихоньку, похоронить, пролетарии…

– Нет, здесь не все так ясно и просто, как могло показаться. Эта книжица с двойным дном. Его-то я и буду искать.

Лотария протягивает мне следующие списки:

– А вот совсем другая вещь. Это сразу видно. Вначале идут слова, встречающиеся около пятидесяти раз:

был, ее, мало, муж, Рикардо (51); была, вещь, вокзал, есть, ответил, перед (48); все, комната, Марио, несколько, раз, только (47); казалось, пошел, утро, чей (46); должен был (45); до, имел бы, рука, слушай (43); вечер, годы, девушка, Делия, кто, руки, ты, Чечина (42); вернулся, мог, мужчина, одна, окно, почти (41); меня, хотел (40); жизнь (39)…

– Что скажете? Это явно о личной жизни: тонкие чувства, внутренние переживания едва намечены, скупой антураж, провинциальная обыденность… Для проверки посмотрим слова, употребленные по разу:

перехитрить, полнеть, пониже, превратный, преклониться, преувеличивать, прилежный, приревновать, проглатывала, проглотила, проглоченная, промерзлый, простодушие, профессор…

– Ну что же, теперь картина прояснилась: яснее и душевное состояние героев, и условия их жизни… Перейдем к третьей книге:

Бог, волосы, второй, деньги, особенно, почти, раз, тело, счет (39); вечер, вино, Винченцо, дождь, жить, кто-то, мука́, причина, продукты (38); ее, зеленый, итак, нежный, ноги, смерть, яйца (36); белый, голова, грудь, даже, делают, день, дети, живет, имели бы, машина, ну, осталась, ткань, черные (35)…

– Здесь все намного плотнее, гуще, живее. Сюжет сколочен прочно, грубовато, без прикрас. Вещь откровенно чувственная. Любовные сцены поданы напрямую, раскованно, по-простому. Обратимся к списку слов с частотностью единица. Например:

первозданный, подтверждаться, позор, позорил, позорить, позориться, позоришь, позорище, позорник, позорно, позорный, позорю, позоря, помидоры, портвейн [7]…

– Видите? Чувство вины в чистом виде! Верный знак. Критический разбор можно начать именно отсюда, наметив основные пункты… Что я вам говорила? Быстрый и надежный метод, не правда ли?

Если Лотария и впрямь читает мои книги подобным образом, то тут уже не до шуток. Воображаю, как всякое мое слово пропускается через электронный мозг, заносится в частотную таблицу рядом с другими словами, какими – понятия не имею. Невольно начинаешь подсчитывать, сколько раз употребил такое-то слово. Чувствую, как над этими обособленными слогами тяготеет ответственность за написанное. Попытаюсь представить, какие выводы можно сделать из того, что такое-то слово встречается у меня всего один раз или целых пятьдесят. Не лучше ли его попросту вычеркнуть… Но любое другое слово на этом месте вроде бы не годится… Не знаю, как и быть: хоть не книгу пиши, а составляй списки слов в алфавитном порядке… Поток разрозненных слов… в нем заключался бы пока неведомый мне смысл… Из этого смысла на компьютере с обратной программой можно было бы сложить книгу. Мою книгу.

Объявилась сестра той самой Лотарии, что пишет обо мне доклад. Пришла без предупреждения, как бы невзначай. Пришла и говорит:

– Меня зовут Людмила. Я читала все ваши книги.

Помня о том, что она не любит знакомиться с авторами, я удивился ее приходу. Она заявила, что сестра судит обо всем однобоко. Лотария рассказала ей о наших встречах. Вот она и решила лично узнать, что я за человек. Тем более что я соответствую ее представлению об идеальном писателе.

Идеальным, по мнению Людмилы (говоря ее словами), является такой писатель, у которого книги зреют как желуди на дубе. Она привела ряд образных сравнений с природными процессами, идущими своим невозмутимым чередом. Она уподобила творчество идеального писателя ветрам, обдувающим горы; приливам и отливам, намывающим берега; годичным кольцам, нарастающим в стволе дерева. Впрочем, все эти сравнения скорее относились к писательству вообще. А вот образ дуба касался непосредственно меня.

В ее речах звучало раздражение, как у людей, привыкших отстаивать собственную точку зрения вопреки чужому мнению.

– Вы сердиты на вашу сестру? – спросил я.

– Нет, на одного вашего знакомого.

Без особых усилий я догадался о подоплеке ее визита. Людмила общается или общалась с этим переводчиком – Мараной, для которого литература чего-то стоит лишь тогда, когда ее отличают хитроумные махинации, ухищрения, уловки, ловушки.

– Вы полагаете, у меня выходит иначе?

– Я всегда считала, что для вас писать – что рыть нору, строить муравейник или собирать улей.

– Не уверен, что сказанное можно воспринимать как комплимент. Ну да ладно. Теперь мы знакомы. Надеюсь, вы не разочарованы? Я соответствую вашему представлению о Сайласе Флэннери?

– Нет, я не разочарована. Наоборот. Но не потому, что вы соответствуете какому-то представлению. Просто вы самый обыкновенный человек. Как я и ожидала.

– После моих книг возникает ощущение, что их автор – самый обыкновенный человек?

– Нет, видите ли… Книги Сайласа Флэннери настолько своеобразны… Кажется, что они появились еще раньше, до того, как вы их написали; в мельчайших подробностях… Кажется, что они проходят через вас, пользуясь тем, что вы умеете писать: ведь должен же кто-то их написать… Мне бы хотелось понаблюдать за вами, когда вы пишете, и убедиться, так ли это на самом деле…

Меня охватывает щемящая досада. Для этой женщины я всего лишь безликая графическая энергия, готовая в любой момент перенести на письмо из невыраженного воображаемый мир, существующий независимо от меня. Не дай бог, она узнает, что у Сайласа Флэннери не осталось больше ничего из того, о чем она думает: ни выразительной силы, ни предмета выражения.

– Что, собственно, вы надеетесь увидеть? Я не могу писать, когда на меня смотрят… – возражаю я.

В ее понимании, объясняет она, суть литературы сводится исключительно к физическому акту писания.

«Физический акт…» – это сочетание навязчиво вертится у меня в голове, навевая образы, которые напрасно стараешься отогнать.

– Физическая сущность бытия, – роняю я. – Вот смотрите, я здесь, я есмь, я перед вами, в вашем физическом присутствии… – Меня

переполняет жгучая ревность, не к кому-то, а к самому себе, сотворенному из чернил и точек с запятыми; к себе, написавшему книги, которые уже не напишу; к автору, продолжающему вторгаться во внутреннюю жизнь этой молодой особы; меж тем как я, я-здешний, я-теперешний, чувствую приток физических сил, куда более возвышенных, чем творческий порыв; меня отделяет от нее неизмеримое расстояние клавиатуры и чистого листа бумаги, вставленного в пишущую машинку.

– Единение достигается по-разному… – замечаю я и подхожу к ней с некоторой поспешностью. В сознании проносятся чувства и видения, подталкивающие меня к преодолению любой преграды и всякой нерешительности.

Людмила вырывается:

– Что вы, мистер Флэннери! Я совсем не об этом! Вы не так поняли!

Спору нет, можно было найти к ней и более тонкий подход, но поправлять уже поздно. Остается идти ва-банк. Ношусь за ней вокруг письменного стола, сыпля фразами, нелепость которых очевидна:

– Вы думаете, я слишком стар… Но я еще…

– Вы все не так поняли, мистер Флэннери, – повторяет Людмила. Она останавливается и выставляет между нами увесистый кирпич энциклопедического словаря Вебстера. – Я могла бы стать вашей любовницей… Вы приятный, любезный мужчина… Но это никак бы не отразилось на нашем вопросе… И не имело бы ничего общего с писателем Сайласом Флэннери, чьи книги я читаю… Я же говорила: вы два разных человека, и ваши жизни не могут пересекаться… Вы – это, конечно, вы, и никто иной, хоть и очень похожи на многих мужчин, которых я знала… Однако меня интересовал тот, другой Сайлас Флэннери, существующий в книгах Сайласа Флэннери независимо от стоящего здесь вас…

Вытираю со лба пот. Сажусь. Во мне вдруг что-то исчезло: то ли я сам, то ли содержание моего я. Но разве не этого мне хотелось? Разве не добивался я собственного обезличивания?

Возможно, Марана и Людмила говорят об одном и том же. Знать бы только, что это: помилование или приговор? Почему они домогаются именно меня? И как раз тогда, когда я чувствую, что заточен в самом себе, словно в темнице?

Не успела Людмила уйти, как я бросился к подзорной трубе. Хотелось найти утешение в созерцании молодой особы, сидящей в шезлонге. Шезлонг пустовал. А что, если это она и приходила? Что, если все мои мучения исходят от нее одной? Что, если они сговорились сбить меня, отвлечь от работы? Что, если они все заодно: Людмила, ее сестра и переводчик?

– Больше всего меня привлекают книги, – призналась Людмила, – в которых создается иллюзия незамутненной ясности вокруг темного, жестокого, извращенного, запутанного клубка человеческих отношений.

Я так и не понял, имела ли она в виду то, что ее привлекает в моих книгах, или то, что она хотела бы в них найти, но не находит.

Взыскательность, судя по всему, главная черта Людмилы. Ее пристрастия, как видно, меняются изо дня в день. Сегодня она целиком во власти смятения. (Снова придя ко мне, она точно забыла обо всем, что случилось вчера.)

– Я смотрю в подзорную трубу вон на ту веранду. Там сидит женщина и читает, – рассказываю я Людмиле. – Интересно, какие книги она читает: спокойные или беспокойные?

– А сама она, по-вашему, спокойная или беспокойная?

– Спокойная.

– Значит, беспокойные.

Я поделился с Людмилой смутными подозрениями насчет моих рукописей: они то исчезают, то снова появляются, но уже не те, что прежде. Она посоветовала мне быть начеку. Возможно, это заговор апокрифистов, повсюду запустивших свои щупальца. Я спросил, не стоит ли во главе заговора ее бывший друг.

– Заговоры неизбежно ускользают из рук их главарей, – ответила она уклончиво.

Апокриф (от греческого *apókryphos* — скрытый, сокровенный): 1) первоначально о «тайных книгах» религиозных сект; впоследствии о текстах, признанных недостоверными в религиях, где установлен канон священных писаний; 2) о тексте, ложно приписанном какой-либо эпохе или автору.

Так сказано в словарях. Наверное, мое истинное призвание – быть автором апокрифов, в разных смыслах этого слова. Когда пишешь, всегда что-нибудь скрываешь. Для того чтобы потом это вышло наружу. Истина, которой суждено выйти из-под моего пера, – как осколок, отлетевший от утеса куда-то далеко-далеко. Ибо без подлога нет подлинника.

Я не прочь отыскать Гермеса Марану. Мы могли бы работать на пару и наводнить мир апокрифами. Только где он сейчас? Вернулся в Японию? Пытаюсь выведать о нем у Людмилы, узнать что-то конкретное. Она утверждает, что фальсификатор скрывается в тех странах, где писатели особенно плодовиты и многочисленны: такому легче замаскировать свои подделки, перемешав их с полноценными, подлинными произведениями.

– Стало быть, он в Японии?

Людмила как будто не подозревает, что этот человек связан с Японией. По ее сведениям, махинации коварного переводчика исходят совсем из другой части света. Если верить его последним сообщениям, следы Гермеса затерялись где-то в предгорьях Кордильер. Так или иначе, для Людмилы важно одно: чтобы он был как можно дальше. Она прячется от него в этих горах. Теперь она уверена, что не встретится с Мараной и может вернуться домой.

– Так ты уезжаешь? – спрашиваю я.

– Завтра утром, – отвечает она.

Мне становится невыносимо грустно. Неожиданно чувствую себя одиноким.

Снова говорил с наблюдателями летающих тарелок. На сей раз они сами заглянули ко мне. Интересовались, не написал ли я что под диктовку инопланетян.

– Нет, не написал, но знаю, где найти такую книгу, – произнес я, направляясь к подзорной трубе. Мне давно уже пришла в голову мысль, что инопланетная книга, скорее всего, и есть та книга, которую читает молодая особа в шезлонге.

Против обыкновения на веранде особы не было. В разочаровании я стал оглядывать долину, как вдруг увидел на гребне скалы мужчину.

Он был одет на городской манер и читал книгу. Совпадение пришлось так кстати, что я невольно подумал о пришествии инопланетян.

– Вот книга, которую вы ищете, – сказал я юным следопытам, уступая им подзорную трубу, наведенную на незнакомца.

Они по одному приложились к трубе, переглянулись, поблагодарили меня и ушли.

Ко мне пожаловал Читатель. Он был чрезвычайно взволнован тем, что обнаружил два экземпляра моей книги «В сети…» и т. д. Снаружи экземпляры совершенно одинаковые, а внутри совершенно разные, просто два самостоятельных романа. В одном речь идет об университетском преподавателе, который не выносит телефонных звонков; в другом – о миллионере, коллекционирующем калейдоскопы. К сожалению, большего он рассказать не мог: ни тот, ни другой роман он не дочитал. Не мог он показать и сами книги: их у него украли. Вторую – совсем недалеко отсюда.

Читатель еще не пришел в себя после случившегося. А случилось вот что. Прежде чем прийти ко мне, он решил убедиться, дома ли я. В то же время ему хотелось продолжить чтение, чтобы чувствовать себя увереннее в разговоре со мной. Так, с книгой в руках, он пристроился на вершине скалы, с которой хорошо виден мой дом. Вдруг откуда ни возьмись появились какие-то полоумные, окружили Читателя и набросились на его книгу. Вокруг книги эти ненормальные стали совершать что-то вроде священного обряда. Один из них поднял книгу над головой, остальные взирали на нее с глубоким благоговением. Не обращая внимания на протесты Читателя, невменяемая орда умчалась в лес, прихватив с собой заветную книгу.

– В здешних местах уйма всякого сброда, – попытался я его успокоить. – Забудьте об этой книге. Поверьте, вы ничего не потеряли. Это всего лишь искусная подделка, сработанная в Японии. Какие-то мошенники нагло используют популярность моих книг во всем мире. Создали фирму и гонят себе книжонки с моим именем на обложке. На самом деле это чистой воды плагиаты романов малоизвестных японских авторов. Никто эти романы не читает, вот они и попадают в макулатуру. Я навел всевозможные справки и разоблачил подлог. Ведь пострадал не только я, но и безымянные писатели.

– Честно говоря, тот роман мне очень даже понравился, – признался Читатель. – Жаль, что теперь не узнать, чем все кончилось.

– Ну, за этим дело не станет. Открою вам источник. Это японский роман. Его малость подретушировали, изменив имена героев и названия мест на западные. Называется роман «На лужайке, залитой лунным светом». Автор – Такакуми Икоки. Между прочим, вполне зрелый писатель. Могу дать вам английский перевод его романа в качестве некоторой компенсации за понесенный урон.

Беру с письменного стола английский томик и протягиваю его Читателю, предварительно вложив в конверт. Для чего? Для того чтобы избавить Читателя от соблазна сразу заглянуть в книгу и удостовериться, что она не имеет ничего общего ни с романом «В сети перепутанных линий», ни с любой другой моей вещью, подлинной или поддельной.

– Что по свету гуляют поддельные книги Флэннери, я знал, – произнес Читатель. – И не сомневался: по крайней мере один из двух романов – липа. Но что вы скажете о другом?

Было бы неосмотрительно посвящать посторонних в мои дела, и я решил отделаться такой репликой:

– Своими я признаю только те книги, которые еще должен написать.

Читатель снисходительно улыбнулся. Затем, посерьезнев, сказал:

– Мистер Флэннери, я знаю, кто за всем этим стоит. Отнюдь не японцы, а некий Гермес Марана. Он затеял это из ревности к известной вам молодой особе по имени Людмила Випитено.

– Тогда зачем вы пришли ко мне? – ответил я. – Отправляйтесь к этому господину и расспросите обо всем его. – У меня возникло подозрение, что между Читателем и Людмилой существует какая-то связь. Одного этого оказалось достаточно, чтобы в моем голосе зазвучали враждебные нотки.

– Ничего другого не остается, – согласился Читатель. – Я как раз еду по делам туда, где он сейчас находится, – в Южную Америку. Постараюсь воспользоваться случаем и разыскать его.

Я не собираюсь сообщать ему, что, насколько мне известно, Гермес Марана работает на японцев. Именно из Японии расходятся по свету его апокрифы. Главное, чтобы этот незваный гость держался подальше от Людмилы. Я всячески одобрил его намерения совершить поездку в Южную Америку и пожелал успехов в поисках переводчика-призрака.

Читателя преследуют таинственные совпадения. Он поведал мне, что с недавнего времени, по самым разным причинам, прерывает чтение после нескольких страниц.

– Наверное, скучно, – заметил я, предполагая, как всегда, худшее.

– Наоборот. Прерываешься на самом интересном месте. Ужасно хочется поскорее продолжить. Открываешь вроде бы ту же книгу… Не тут-то было: книга уже совсем не та…

– …и жутко скучная, – не унимаюсь я.

– Какое там! Интереснее прежней. Но и ее не дочитываешь. И так без конца.

– Ваш случай все же вселяет в меня надежду, – заключаю я. – Со мной гораздо чаще происходит следующее: берешь новую книгу, а читаешь то, что читал уже сотни раз.

Я долго думал над последним разговором с Читателем. Возможно, он читает с таким напряжением, что впитывает всю суть книги с самого начала, поэтому на продолжение ничего не остается. Вот и со мной с некоторых пор та же история: не успею написать начала, а книга уже исчерпана, как будто сказал все, что собирался сказать.

Мне пришла мысль написать роман, состоящий из одних первых глав. Героем может быть Читатель, которого постоянно прерывают. Читатель покупает новый роман А писателя Б. Экземпляр книги оказывается бракованным, и Читатель спотыкается на первой главе… Он идет в книжную лавку поменять книгу…

Весь роман можно написать от второго лица: ты, Читатель… Можно ввести в роман Читательницу, плутоватого переводчика, пожилого писателя, ведущего дневник вроде моего…

Жаль, если, спасаясь от Лжепереводчика, Читательница попадет в объятия Читателя. Отправлю-ка я его на поиски Лжепереводчика, скрывающегося где-нибудь на краю света. Тогда Писатель сможет остаться наедине с Читательницей.

Разумеется, без женского персонажа путешествие Читателя потеряло бы живость. Нужно, чтобы в пути ему повстречалась женщина. У Читательницы вполне может быть сестра…

Ну вот, похоже. Читатель скоро уедет. В дорогу он возьмет «На лужайке, залитой лунным светом» Такакуми Икоки.

На лужайке, залитой лунным светом

Листья гинкго осыпа́лись с ветвей мелким дождем, кропя лужайку желтыми точками. Я шел рядом с господином Окедой по дорожке, выложенной гладкими камнями. Я сказал, что хотел бы отделить ощущение каждого листика гинкго от ощущения остальных листиков, и спрашиваю себя, возможно ли это. Господин Океда сказал, что возможно. Мои исходные рассуждения, которые господин Океда находил вполне обоснованными, были следующими. Если с дерева гинкго срывается только один желтый листик и падает на лужайку, то глядя на него ощущаешь только один желтый листик. Если с дерева слетают два листика, глаз следит за порханием двух листиков: они сходятся и расходятся, подобно двум бабочкам, играющим в догонялки и плавно садящимся там и сям на траву. То же с тремя, четырьмя и пятью листиками. Когда число листиков, кружащихся в воздухе, увеличивается, ощущения, соответствующие каждому из них, сливаются воедино, и возникает обобщенное ощущение бесшумного дождя и – если легкое дуновение ветра замедлит спуск – ощущение расправленных в воздухе крыльев, а затем – стоит лишь взгляду опуститься на лужайку – ощущение рассеянных светящихся пятнышек. Не теряя ни крупицы из этих сладостных, обобщенных ощущений, я хотел бы выделить, не смешивая его с другими, образ каждого листика с того момента, когда он попадает в поле зрения, и следовать за его воздушным танцем и неспешным опаданием на травинки. Одобрение господина Океды подкрепило мою решимость проявить еще большее усердие. Пожалуй, добавил я, пристальнее рассматривая форму листьев гинкго – крохотный желтый веер с фестончатой каймой, – я смог бы дойти до того, чтобы выделить в ощущении каждого листика ощущение отдельной лопасти листика. На это господин Океда никак не отозвался. Его молчание и прежде служило мне предостережением от поспешных заключений, ради которых я пренебрегал целым рядом неопробованных ступеней. Сделав должный вывод из этого урока, я стал сосредоточиваться, чтобы ухватить тончайшие оттенки ощущений в момент их

проявления, когда они еще отчетливы и не смешались в потоке размытых впечатлений.

Макико, младшая дочь господина Океды, принесла чай. Ее движения сдержанны; она изящна и еще по-детски угловата. Когда она нагибалась, я увидел на ее оголенной шее, под волосами, зачесанными кверху, тонкий черный пушок, сбегавший вниз вдоль линии позвоночника. Я сосредоточенно смотрел на него и тут почувствовал на себе неподвижный взгляд господина Океды. Он, конечно, понял, что я упражнялся в умении вычленять ощущения, созерцая затылок его дочери. Я не отвел взгляд, во-первых, потому, что мною властно завладело впечатление от этого нежного пушка на светлой коже; во-вторых, потому, что господин Океда без труда мог бы отвлечь мое внимание любой, самой пустячной фразой, но не сделал этого. Впрочем, Макико быстро подала чай и распрямилась. Я задержал взгляд на ее родинке, обосновавшейся слева над верхней губой и вызвавшей у меня предыдущее ощущение, хотя и не такое сильное. Макико скользнула по мне взволнованным взглядом и потупилась.

Днем произошел случай, который я запомню надолго, пусть даже в моем пересказе он покажется ничтожным.

Мы прогуливались по берегу северного озера. С нами были госпожа Миядзи и Макико. Господин Океда шел впереди, опираясь на белую кленовую палку. Посреди водной глади распустились два мясистых цветка осенней кувшинки. Госпожа Миядзи изъявила желание сорвать их – один для нее, другой для дочки. На лице госпожи Миядзи было присущее ей мрачновато-усталое выражение, за которым скрывалось суровое упрямство. Подозреваю, что в долгой истории семейных распрей, о которых ходило немало сплетен, она играла не только роль жертвы. Право, не знаю, кто из них возьмет верх: господин Океда со своей холодной отрешенностью или непоколебимо своенравная госпожа Миядзи. Что до Макико, то ее отличал веселый, беззаботный нрав, какой бывает у детей, выросших в семьях, где вечно царит раздор; для них это нечто вроде самозащиты. Макико выработала в себе с годами эти черты, чтобы защищаться от чуждого ей мира под хрупким панцирем мимолетной, незрелой игривости.

Я встал на колени на прибрежном валуне и подался вперед, чтобы поймать ближайшее ответвление кувшинки; осторожно привлек его к себе, стараясь не оборвать, и все растение медленно двинулось к

берегу. Госпожа Миядзи и ее дочь тоже опустились на колени и протянули руки к воде, готовые сорвать цветки, как только они окажутся на нужном расстоянии. Берег озера был низким и пологим. Женщины предусмотрительно расположились немного сзади, по бокам от меня. В какой-то момент я почувствовал явственное прикосновение пониже плеча, на уровне верхнего ребра. Точнее, два разных прикосновения, слева и справа. Со стороны юной Макико – напряженный пульсирующий кончик; со стороны госпожи Миядзи – вкрадчивый, слабый нажим. Я сообразил, что по воле любезного случая меня одновременно коснулся левый сосок дочери и правый сосок матери. Я собрал все свои силы, чтобы подобающе выдержать столь каверзное осязательное испытание, достойно оценить оба быстротечных ощущения и соизмерить степень их очарования.

– Отгоните листья, – сказал господин Океда, – и стебель подплывет ближе.

Он возвышался над нашей троицей, склонившейся к кувшинке. Своей длинной палкой он мог бы легко подогнать к берегу цветки водного растения и все же ограничился лишь этим советом, продлевавшим касание женскими телами моего тела.

Миядзи и Макико вот-вот должны были дотянуться до кувшинки. Я рассчитал, что, когда они будут срывать цветки, приподниму и сразу прижму к боку правый локоть, чтобы целиком зажать под мышкой маленькую, твердую грудь Макико. Однако восторг по поводу пленения цветков расстроил согласованность наших движений, поэтому моя правая рука замкнула пустоту. Зато левая отпустила стебель кувшинки, качнулась назад и угодила в самое лоно госпожи Миядзи, которая словно ждала ее и едва ли не придержала, с податливой дрожью, мгновенно передавшейся всему моему существу. В этот миг свершилось то, что позже возымело непредсказуемые последствия, о которых я поведаю далее.

Вновь проходя мимо гинкго, я сказал господину Океде, что в созерцании лиственного дождя важно не столько восприятие каждого листика, сколько расстояние между одним листиком и другим, свободное пространство, разделяющее их. Я как будто понял: отсутствие ощущений на большей части поля восприятия есть необходимое условие для концентрации чувствительности в

определенном месте и на определенное время; точно так же, как в музыке тишина нужна для того, чтобы на ее фоне выделялись ноты.

Господин Океда сказал, что в отношении осязательных ощущений это безусловно так. Меня изумил его ответ, ведь, говоря о моих наблюдениях за листьями, я в действительности думал о прикосновении тел его дочери и жены. Господин Океда продолжал вещать об осязательных ощущениях столь естественно, словно в моем замечании ничего другого и не подразумевалось.

Желая перевести разговор на другую тему, я завел речь о чтении книг. Таких книг, где повествование ведется ровно, бесстрастно, в приглушенных тонах, что позволяет выделить тонкие и точные ощущения и сосредоточить на них внимание читателя. Если это роман, то нужно помнить, что в череде предложений раз от разу возникает только одно ощущение, единичное или обобщенное; меж тем как широта зрительного поля или слухового поля дает возможность воспринимать одновременно некую сумму многообразных, насыщенных ощущений. Восприимчивость читателя в сравнении с суммой ощущений, на которые притязает роман, оказывается значительно ниже, во-первых, потому, что его чтение, нередко торопливое и рассеянное, не улавливает или оставляет без внимания определенное число знаков и значений, действительно содержащихся в тексте; во-вторых, потому, что существенное неизменно выносится за пределы написанного предложения; более того, несказанное в романе обязательно превосходит сказанное, и лишь особенный отзвук написанного может создать иллюзию прочтения ненаписанного. Пока я высказывал эти мысли, господин Океда хранил молчание. Так бывает всякий раз, когда я пускаюсь в неумеренные, путаные рассуждения и в конце концов сам не знаю, как из них выпутаться.

В последующие дни мне часто приходилось оставаться в доме наедине с обеими женщинами, поскольку господин Океда решил лично проводить библиотечные изыскания, составлявшие до этого мое основное занятие. Он предпочел, чтобы я находился в его кабинете и приводил в порядок собранную им гигантскую картотеку. Я не напрасно опасался, что господин Океда догадывается о моих беседах с профессором Кавасаки и чувствует, что я собираюсь отойти от его школы и сблизиться с академическими кругами, сулившими мне многообещающие возможности. Слишком долгое пребывание под

интеллектуальной опекой господина Океды вредило мне: я чувствовал это по ехидным замечаниям в мой адрес помощников профессора Кавасаки, при том, что они, как и мои сокурсники, не поддерживали никаких отношений с другими школами. Ясно, что господин Океда удерживал меня в своем доме день-деньской, чтобы не дать выпорхнуть на волю, ограничить самостоятельность моей мысли, как ограничил он самостоятельность остальных своих учеников, которые дошли до того, что постоянно следили друг за другом и наушничали друг на друга за малейшее неповиновение всевластному авторитету учителя. Нужно было поскорее распрощаться с господином Окедой. Я медлил лишь потому, что каждое утро в отсутствие учителя приходил в сладостное мыслительное возбуждение, мало, впрочем, помогавшее мне в работе.

Я то и дело отвлекался. Искал любой повод, чтобы зайти в другие комнаты, где мог бы встретить Макико, застать ее врасплох за обыденными хлопотами по дому. Чаще, однако, я сталкивался с госпожой Миядзи. Мы говорили о том о сем – не без колкостей, с явным налетом досады, – тем более что случай поболтать с матерью представлялся гораздо легче, чем с дочкой.

За ужином мы рассаживались вокруг кипящего сукияки. Господин Океда испытующе оглядывал наши лица, словно на них отпечатались тайны минувшего дня, сеть разрозненных и переплетенных желаний. Я чувствовал, что меня опутала эта сеть, но не спешил выбираться из нее, пока не удовлетворю всех желаний, одно за другим. Шло время. Изо дня в день я откладывал решение навсегда распроститься с учителем и работой, не приносившей ни сносного вознаграждения, ни надежд на достойную карьеру. Я понимал, что сетью, опутавшей меня, был он, господин Океда. Теперь учитель затягивал петлю за петлей.

Стояла погожая осень. Был ноябрь. Приближалось полнолуние. Както днем мы обсуждали с Макико, из какого места удобнее всего смотреть на луну сквозь ветви деревьев. Я уверял, что на лужайке, залитой лунным светом, опавшие листья гинкго распространяли бы стелющееся по земле свечение. Говоря так, я преследовал вполне определенную цель: назначить Макико свидание той ночью под деревом гинкго. Девушка ответила, что осенью, особенно сухой и холодной, ей больше нравится озеро: луна отражается в воде гораздо отчетливее, чем летом, когда ее очертания подернуты озерной дымкой.

– Договорились, – поспешил я согласиться. – Я сгораю от нетерпения встретиться с тобой на берегу озера, как только выйдет луна. Тем более, – добавил я, – что озеро вызывает во мне нежные воспоминания.

Произнося последние слова, я, видно, слишком живо воскресил в памяти соприкосновение с грудью Макико; мой голос зазвучал взволнованно и насторожил девушку. Макико нахмурила брови и ненадолго умолкла. Мне совсем не хотелось, чтобы эта заминка разрушила любовные грезы, которым я предавался с таким упоением. Желая сгладить ее, я невзначай приоткрыл рот и щелкнул зубами, как будто кусая. Макико непроизвольно отпрянула с выражением внезапной боли, словно ее действительно укусили в чувствительное место. Но уже в следующий миг она овладела собой и вышла из комнаты. Я бросился за ней.

Госпожа Миядзи находилась в соседней комнате. Она сидела на циновке и расставляла в вазе осенние цветы и ветви. Двигаясь подобно лунатику, я не заметил, как она оказалась прямо подо мной. В последний момент я все же успел остановиться, чуть было не натолкнувшись на хозяйку и не опрокинув ногами вазу. Бегство Макико сильнейшим образом возбудило меня. По-видимому, это не ускользнуло от госпожи Миядзи, ведь я налетел на нее как ураган. Не поднимая глаз, госпожа замахала на меня цветком камелии, который ставила в вазу. То ли она хотела стегнуть меня, то ли оттолкнуть ту мою часть, что нависла над ней, то ли заигрывала со мной, будоражила, распаляла этими хлесткими ударами-ласками. Я потянулся к вазе, пытаясь удержать цветы и листья в прежнем расположении и не дать им разлететься; она тоже перебирала ветви, подавшись вперед. Вышло так, что в один и тот же момент моя рука сама собой прокралась между кимоно и обнаженным телом госпожи Миядзи, невольно сжав мягкую, теплую, чуть вытянутую грудь; в то время как рука госпожи протиснулась сквозь ветви кейяки (называемого в Европе кавказским вязом. – *Примеч. пер.*), дотянулась до моего члена, схватила его ловко и уверенно и стала извлекать из одежды, как оголяют ветвь, обрывая с нее ненужные листья.

В груди госпожи Миядзи меня прельстила зернистая россыпь розовых пупырышков, помельче и покрупнее, рассеянных по внушительных размеров ореолу; более кучных по краям и

неравномерно подступающих к торчащей макушке. Вероятно, любой из этих пупырышков пробуждал более или менее острые ощущения, управляя чувствительностью госпожи Миядзи, в чем я смог немедленно убедиться, легонько надавливая по возможности на каждый отдельно взятый пупырышек, с промежутком примерно в секунду, и отмечая прямую реакцию на соске и косвенную на общем поведении госпожи, как, впрочем, и собственную реакцию, поскольку между ее чувствительностью и моей явно установилась некоторая взаимозависимость. Это осторожное осязательное исследование я проводил не только с помощью подушечек пальцев, но и с помощью моего члена, который крайне сподручно поднес к груди госпожи Миядзи, лаская ее нежным круговым касанием; тем более что мы оказались в позе, весьма благоприятной для соприкосновения этих по-разному эрогенных зон, а госпожа откровенно поощряла и властно направляла желанные телодвижения. Надо признаться, что и на моем члене, особенно в его завершающем, раздающемся утолщении, кожа в некоторых точках и местах обладает повышенной чувствительностью, доставляющей непередаваемое наслаждение, вызывающей жгучий зуд, причиняющей боль, резко или приглушенно отзывающейся на всякое прикосновение. Непредвиденная, а может, продуманная встреча двух чувствительных, а может, сверхчувствительных оконечностей – моей и ее – сулила им обилие разнообразных и кропотливых услад.

Мы были поглощены этими упражнениями, когда в проеме раздвижной двери стремительно возникла фигура Макико. Девушка, видимо, ждала, что я буду ее преследовать, и решила взглянуть, почему я задержался. Мигом сообразив, в чем дело, она скрылась, но не настолько быстро, чтобы я не успел заметить: кое-что в ее одежде изменилось. Она сменила облегающую кофточку на шелковый халат; он так и норовил распахнуться, уступая внутреннему напору всего того, что в ней неистово цвело, и соскользнуть с ее гладкой кожи при первом же натиске вожделенной близости, которую эта гладкая кожа настойчиво предвкушала.

– Макико! – воскликнул я, желая объяснить (хоть, честно говоря, не знал, с чего начать), что очутился рядом с ее матерью по чистой случайности, направившей по ложному пути мой страстный порыв, адресованный исключительно ей – Макико. Порыв, усиленный полусброшенным или ждущим, что его сбросят, шелковым халатом;

разожженный нескрываемой, призывной готовностью; доведенный до обуявшей меня похоти зримым явлением Макико и осязаемым касанием госпожи Миядзи.

Госпожа Миядзи, должно быть, безошибочно это почувствовала. Она взяла меня за плечи, повалила на циновку и, проворно изогнувшись всем телом, подставила свою влажную, хваткую расщелину под мой распаленный член с такой точностью, что его засосало внутрь, словно лечебной банкой, в то время как худые голые бедра хозяйки опоясали мне бока. Госпожа Миядзи действовала с завидной ловкостью: ее ноги в белоснежных хлопчатых гольфах замкнулись на моем крестце, зажав меня как в тисках.

Мой призыв к Макико не оставался неуслышанным. За бумажной перегородкой раздвижной двери обозначились очертания девушки: вот она опустилась на колени, вот вытянула голову вперед, вот из-за косяка показалось ее лицо, искаженное мучительной гримасой, как после быстрого бега: раскрыв ротик и вытаращив глаза, она с любопытством и отвращением наблюдала за нашими подрагиваниями. Но она была не одна. По ту сторону коридора, в дверном проеме, застыла мужская фигура. Не знаю, давно ли господин Океда стоял там. Он неотрывно смотрел, но не на жену и меня, а на свою дочь, смотревшую на нас. В его холодных зрачках, в неподвижной складке губ отражалась судорога госпожи Миядзи, отраженная во взгляде дочери.

Он видел, что я его видел. И не шелохнулся. Я мгновенно понял, что он не прервет меня, не выгонит из дома, никогда не напомнит об этом случае и о других возможных случаях в будущем. Еще я понял, что это попущение не даст мне никакой власти над ним и не облегчит моего подневольного положения. Существовала некая тайна, связывавшая меня с ним, но не его со мной. Вряд ли я смог бы кому-то рассказать, что он смотрел на нас, не признав в этом моего недостойного соучастия.

Что мне теперь оставалось? Видно, это была судьба; я все больше запутывался в бесконечных недоразумениях. Макико наверняка зачислила меня в стан материнских любовников. Миядзи думает, что я схожу с ума по ее дочери. В свое время и та и другая жестоко мне отомстят. В академических кругах слухи разносятся мгновенно; вот и пойдут трезвонить злые языки моих однокашников о том, как я

усердствую в семействе Океда. Меня ославят в глазах университетских преподавателей. А без их участия ни о какой карьере и думать нечего.

Как ни точили меня эти навязчивые мысли, я все же сумел сосредоточиться и разделить обобщенное ощущение моего члена, стиснутого в лоне госпожи Миядзи, на дробные ощущения отдельных точек во мне и в ней, поочередно подвергаемых давлению благодаря моим размеренным движениям и ее судорожным рывкам. При таком подходе я прежде всего продлевал состояние, необходимое для собственного наблюдения, и сдерживал конечное разрешение, выделяя моменты нечувствительности или неполной чувствительности, которые, в свою очередь, давали возможность по достоинству оценить внезапно возникающие чувственные побуждения, непредсказуемо распределенные во времени и пространстве. «Макико, Макико!» – пылко шептал я в ухо госпожи Миядзи, лихорадочно связывая эти мгновения сверхчувствительности с образом ее дочери и множеством других несоизмеримых ощущений, которые, как мне казалось, та могла во мне вызвать. И чтобы сдержать свои чувства, я думал о том, как буду описывать их тем же вечером господину Океде: во время листопада каждый листик гинкго, слетая с ветви, находится на строго определенной высоте, отличной от высоты падения других листиков; поэтому свободное и нечувствительное пространство, в котором располагаются зрительные ощущения, может быть поделено на ряд последовательных уровней; и на каждом таком уровне будет кружиться по одному-единственному листику.

Глава девятая

Ты пристегиваешь ремень. Самолет идет на посадку. Летать – совсем не то, что ездить: ты пересекаешь прерывистость пространства, исчезаешь в пустоте, признаешь, что на какое-то время, которое тоже – пустота во времени, тебя нигде нет; затем ты снова появляешься в определенном месте и времени, никак не связанных с где и когда, в которых ты исчез. Что же тем временем ты делаешь? Чем заполняешь отсутствие тебя в мире и мира в тебе? Чтением. Перелетая из аэропорта в аэропорт, ты не отрываешься от книги. Ведь за пределами страницы – пустота, безликость залов ожидания, металлической утробы самолета, вынашивающей и кормящей тебя, толпы пассажиров, всегда такой разной и такой одинаковой. Словом, в пути уместно отвлечься с помощью книги, составленной из безликого единообразия типографского шрифта. Вызванные властным заклинанием имена и названия убеждают тебя: под тобой что-то, а не пустота. Ты начинаешь сознавать: нужно отличаться немалым безрассудством, чтобы довериться столь ненадежным аппаратам, управляемым чуть ли не на глаз. А может, это лишнее доказательство того, что мы неудержимо тяготеем к бездеятельности, упадку, детской зависимости? (Ты вообще-то о чем: о путешествии на самолете или о чтении?)

Самолет приземляется. Ты не успел дочитать «На лужайке, залитой лунным светом» Такакуми Икоки. Уткнувшись в книгу, ты спускаешься по трапу, заходишь в автобус, пересекаешь летное поле, встаешь в очередь к паспортному контролю и таможне. Продвигаясь, ты держишь открытую книгу перед глазами, как вдруг кто-то вырывает ее, и тут, словно поднимается занавес, рядом с тобой возникают полицейские, запряженные в портупеи, навьюченные автоматами, убранные кокардами и погонами.

– Позвольте, это моя книга… – лопочешь ты, как ребенок, протягивая беззащитную руку к неприступному заслону из блестящих пуговиц и стволов.

– Конфискуется. К ввозу в Атагвитанию не подлежит. Это запрещенная книга.

– Но позвольте… Здесь говорится об осенних листьях… На каком основании?..

– Она в списке книг, подлежащих конфискации. Так гласит закон. Вы что, учить нас вздумали? – С каждым словом тон говорящего стремительно меняется: от сухого к резкому, от резкого к приказному, от приказного к угрожающему.

– Да, но… Мне осталось совсем немного…

– Не нарывайся, – шепчет голос за твоей спиной. – С ними лучше не спорить. А насчет книги не беспокойся. У меня такая припрятана. Потом поговорим…

Голос принадлежит длинноногой пассажирке в брюках. Вся обвешана сумками. Держится крайне уверенно. Сразу видно, что к таможенному досмотру ей не привыкать. Ты ее знаешь? Даже если знаешь – не подавай виду. Она-то говорит с тобой украдкой. Жестом приглашает следовать за ней. Не упусти ее в толпе. Вышла из здания аэропорта; садится в такси; знаком велит тебе взять другое такси и ехать следом. На пустынном участке дороги ее такси притормаживает. Она выходит со всей своей поклажей и пересаживается в твою машину. Если бы не короткая стрижка и большущие очки – вылитая Лотария.

– А ты не?.. – бормочешь ты.

– Коринна. Зови меня Коринной.

Порывшись в сумках, Коринна достает книгу и протягивает ее тебе.

– Это не то, – говоришь ты, увидев на обложке незнакомые название и фамилию автора: «Вокруг зияющей ямы» Калисто Бандеры. – У меня конфисковали роман Икоки.

– Он самый и есть. В Атагвитании книги распространяются под фальшивыми обложками.

Пока такси мчится по пыльному пригороду, ты, не выдержав, раскрываешь книгу, чтобы убедиться в правдивости ее слов. Какое там! Эту книгу ты видишь впервые. Японским романом здесь и не пахнет. Начинается с того, что по раскаленному плоскогорью, поросшему агавами, скачет всадник; он видит хищных птиц под названием *зопилотес.*

– Тут не только обложка фальшивая, – замечаешь ты, – но и текст тоже.

– А ты как думал? – отзывается Коринна. – Стоит начать подделывать – уже не остановиться. Все, что можно подделать, в этой стране давно подделано: музейные экспонаты, золотые слитки, автобусные билетики. Революция и контрреволюция наносят друг другу удары с помощью подделок. В результате никто точно не знает, где мнимое, а где настоящее. Политическая полиция устраивает революционные волнения, а революционеры переодеваются в полицейских.

– Кто же от этого выигрывает?

– Рано еще говорить. Посмотрим, кто лучше воспользуется своими и чужими подделками: полиция или наша организация.

Водитель такси явно прислушивается к разговору. Знаком ты предостерегаешь Коринну: не болтай лишнего.

– Не бойся, – успокаивает она. – Это такси мнимое. Меня больше беспокоит, что нас преследует другое такси.

– Настоящее или мнимое?

– Наверняка мнимое. Не знаю только, полиция это или наши.

Ты оборачиваешься и вскрикиваешь:

– Но за вторым такси едет третье…

– Это могут быть наши. Они следят за действиями полиции. А могут и полицейские – сели нашим на хвост…

Второе такси обгоняет первое и резко тормозит. Из него выскакивают вооруженные люди и приказывают вам выйти:

– Полиция! Вы арестованы!

Щелкают наручники, вас сажают во второе такси: тебя, Коринну и шофера.

Коринна обращается к полицейским с невозмутимой улыбкой:

– Меня зовут Гертруда. Это друг. Отвезите нас к начальству.

От удивления ты разинул рот. Коринна-Гертруда шепчет на твоем языке:

– Не бойся. Это мнимые полицейские. На самом деле они из наших.

Не успеваете вы отъехать, как третье такси блокирует второе. Из него выскакивают вооруженные люди в масках. Они разоружают полицейских, снимают наручники с тебя и Коринны-Гертруды, надевают их на полицейских и запихивают вас в свое такси.

Как ни в чем не бывало Коринна-Гертруда произносит:

– Спасибо, друзья. Меня зовут Ингрид. Это один из наших. Мы едем в штаб?

– Сиди и не вякай! – цыкает налетчик, должно быть, главный. – Нечего нам лапшу на уши вешать! Сейчас на вас наденут повязки. С этой минуты вы наши заложники.

Прямо не знаешь, что и думать. К тому же Коринну-Гертруду-Ингрид куда-то увезли на другом такси. Когда ты снова получаешь возможность свободно распоряжаться своими членами и видеть, то видишь, что очутился в кабинете начальника полиции или в комендатуре. Унтер-офицеры фотографируют тебя в профиль и анфас; берут отпечатки пальцев. Какой-то офицер зовет:

– Альфонсина!

Входит Гертруда-Ингрид-Коринна. На ней тоже форма. Она протягивает офицеру папку с документами на подпись.

Между тем тебя продолжают обрабатывать. За одним столом ты сдаешь документы; за другим – наличные деньги; за третьим – одежду, получая взамен арестантскую робу.

– Что это за ловушка? – спрашиваешь ты у Ингрид-Гертруды-Альфонсины, улучив момент, когда охранники повернулись к тебе спиной.

– В ряды революционеров проникли контрреволюционные лазутчики. Они и заманили нас в полицейскую засаду. Слава богу, в полиции тоже есть наши люди. Они выдают меня за штабную работницу. Запомни, тебя отправят в мнимую тюрьму; то есть тюрьма настоящая, государственная, но она не в их, а в наших руках.

Ты невольно вспоминаешь о Маране. Кто, как не он, мог замыслить подобную махинацию?

– Я, кажется, узнаю почерк вашего главаря, – говоришь ты Альфонсине.

– Кто он – сейчас не важно. Он может быть мнимым главарем и делать вид, будто работает на революцию с единственной целью содействовать контрреволюции, или откровенно поддерживать контрреволюцию, веря, что таким образом расчистит путь для революции.

– А ты работаешь на него?

– Со мной особый случай. Я настоящая революционерка, засланная в лагерь мнимых революционеров. Для конспирации я изображаю

контрреволюционерку, засланную в лагерь настоящих революционеров. Хотя на самом деле так оно и есть, ведь я выполняю задание полиции, но не настоящей, поскольку я подчиняюсь революционерам, засланным к засланным контрреволюционерам.

– Если я правильно понял, засланы буквально все: и в полиции, и в революции. Как же вы отличаете одних от других?

– Сначала надо установить, кто заслал каждого засланного. Но до этого важно понять, кто заслал тех, кто заслал.

– И вы продолжаете драться до последнего, зная, что никто из вас не является тем, за кого себя выдает?

– При чем здесь это? Каждый должен исполнить свою роль до конца.

– А какая роль отводится тебе?

– Погоди, не суетись. Почитай пока свою книжку.

– Черт побери! Я потерял ее, когда меня освободили, то есть арестовали…

– Не страшно. Тюрьма, в которую тебя поместят, образцовая. Есть в ней и библиотека, куда поступают последние новинки.

– И запрещенные тоже?

– Где же им, по-твоему, еще быть, как не в тюрьме?

(Ты добрался до самой Атагвитании, чтобы отыскать фальшивороманщика, а попал в плен системы, где все сверху донизу фальшиво. Или: ты был полон решимости одолеть любую преграду – леса, моря и горы, лишь бы выйти на след неустрашимого первопроходца Мараны, пропавшего во время поисков романов-рек. Однако ты натолкнулся на железную решетку тюремного общества; она протянулась по всей земле и заключила вольный дух приключений в убогие, неподвижные границы… Все это еще касается тебя, Читатель? Из любви к Людмиле ты заехал так далеко, что стал забывать, как она выглядит. Если тобой не движет больше образ Людмилы, остается довериться ее зеркальной противоположности – Лотарии…

Но действительно ли это Лотария? «Не знаю, с кем там у тебя что было. Лично я ни о какой Лотарии не слышала», – отвечает она всякий раз, как ты заговариваешь о прошлом. Видно, таковы законы конспирации. Сказать по правде, ты и сам не очень уверен, кто перед

тобой… Может, это мнимая Коринна или мнимая Лотария? Ясно одно: по отношению к тебе она играет примерно ту же роль, что и Лотария. Значит, ей соответствует имя Лотария, и никак иначе ее не назовешь.

– Скажи еще, что и сестры у тебя нет.

– Сестра у меня есть. Только при чем здесь это?

– Твоей сестре нравятся сложные психологические романы, герои которых – мятежные души?

– Моя сестра вечно твердит, что ей нравятся романы, в которых чувствуется первичная, исконная, теллурическая сила. Она так и говорит: теллурическая.)

– Вы жалуетесь, что в тюремной библиотеке вам дали неполный экземпляр книги? – произносит высокий офицер, сидящий за высоким столом.

Ты облегченно вздыхаешь. С той минуты как охранник вызвал тебя из камеры и повел по бесконечным переходам, лестницам, подвалам, предбанникам и конторам, ты дрожал мелкой дрожью и обливался холодным потом от страха неизвестности. Оказывается, все дело в твоей жалобе по поводу романа Калисто Бандеры «Вокруг зияющей ямы». Тревога сменяется досадой, охватившей тебя, когда ты взял в руки разодранный переплет, в котором осталось с десяток-другой потрепанных страниц.

– Еще бы не жаловаться! – отвечаешь ты. – И это называется образцовая библиотека в образцовой тюрьме! Делаешь заказ по картотеке, и на тебе: вместо книги – жалкий ворох замусоленных страниц! О какой воспитательной работе среди заключенных тут можно говорить?!

Офицер за столом не спеша снимает очки и сокрушенно качает головой:

– Я не разбираю подобные жалобы. Это не входит в мои обязанности. Наш отдел поддерживает тесные связи как с тюрьмами, так и с библиотеками. Однако его деятельность намного обширнее. Мы знаем, что вы читатель, так сказать, со стажем, и хотели бы получить у вас консультацию. Силы правопорядка – армия, полиция, судебные органы – часто не могут решить, запретить книгу или все же пропустить: то не хватает времени вчитаться как следует, то в оценках расходятся, что хорошо, а что плохо, что глубоко, а что

поверхностно… Только не подумайте, что мы намерены сделать из вас цензора. С помощью современной техники мы в состоянии быстро и надежно разграничить эти задачи. У нас имеется новейшее оборудование, на котором можно прочесть, разобрать и оценить любой письменный текст. Но именно надежность этой техники мы и должны проверить. В нашей картотеке вы значитесь как читатель, соответствующий среднестатистическому уровню. Кроме того, нам известно, что вы читали, пусть не полностью, «Вокруг зияющей ямы» Калисто Бандеры. Было бы уместно сравнить ваши впечатления от романа с выкладками считывающего устройства.

Офицер проводит тебя в аппаратную.

– Познакомьтесь. Это наша программистка Шейла. В застегнутом доверху белом халате перед батареей гладких металлических тумбочек, напоминающих посудомоечные машины, прохаживается Коринна-Гертруда-Альфонсина.

– Это блоки памяти. В них заложен весь текст романа Бандеры. На выходе установлено печатающее устройство. Как видите, оно может воспроизвести роман слово в слово, от начала до конца, – поясняет офицер. Из некоего подобия печатной машинки вылезает длинная лента бумаги; со скоростью автоматной очереди она усеивается мелким, бесстрастным шрифтом.

– Тогда, с вашего позволения, я бы взял недостающие главы, – говоришь ты, ласково касаясь убористого потока текста, в котором узнаешь прозу, сопровождавшую часы твоего заключения.

– Сделайте одолжение, – отвечает офицер. – Оставляю вас с Шейлой. Она введет нужную программу.

Читатель, ты нашел книгу, которую искал. Теперь ты сможешь возобновить прерванное. Твое лицо снова озаряется улыбкой. Но неужели ты думаешь, что вся эта история так вот и будет продолжаться до бесконечности? Нет, речь не о романе, а о тебе! Доколе ты будешь покорно отдаваться на произвол судьбы? Ты энергично взялся за дело, жаждал приключений, и что же? Очень скоро твоя роль свелась к безропотному исполнению чужой воли. Ты оказался втянутым в события, на которые никак не можешь повлиять. Стоит ли тогда быть главным действующим лицом? Если тебя устраивает такое положение вещей, выходит, ты тоже соучастник этой мистификации.

Ты хватаешь девушку за запястье:

– Тебе еще не надоел весь этот маскарад, Лотария? Сколько можно проворачивать меня в вашей полицейской мясорубке?

На сей раз Шейла-Ингрид-Коринна слегка опешила.

– О ком это ты? – выдергивает она руку. – Я про твои любовные похождения знать не обязана. У меня четкое задание. Противники нынешних властей должны внедриться в механизм власти, чтобы сбросить эту власть.

– И воссоздать ее в прежнем виде! Хватит ломать комедию, Лотария! Если расстегнуть твою форму, под ней окажется другая форма!

Шейла смотрит на тебя вызывающе:

– Расстегнуть?.. Попробуй…

Ты решил биться до конца; отступать поздно. Дрожащей рукой ты распахиваешь белый халат программистки Шейлы и обнаруживаешь форму офицера полиции Альфонсины; резким движением расстегиваешь золоченые пуговицы полицейского кителя Альфонсины и натыкаешься на ветровку Коринны; разъединяешь молнию ветровки и видишь петлицы Ингрид…

Оставшуюся одежду она срывает сама. Твоему взору предстают крепкие, как дыни, груди, чуть впалый живот, втянутый пупок, чуть выпуклое чрево, округлые бока обманчивой худобы, всклокоченный лобок, мощные, длинные бедра.

– По-твоему, это тоже форма? – восклицает Шейла.

В растерянности ты бормочешь:

– Нет, это нет…

– А вот и да! – выкрикивает Шейла. – Тело – это униформа! Тело – это вооруженное ополчение! Тело – это насильственное действие! Тело – это борьба за власть! Тело – это неустанная битва! Тело – это самоутверждение! Тело – это цель, а не родство! Тело значимо! Оно кричит! Вопиет! Ниспровергает! Подрывает! Совращает!

С этими словами Шейла-Альфонсина-Гертруда бросается на тебя и скидывает твою тюремную робу. Ваши голые тела переплетаются под металлическими блоками электронной памяти.

Что с тобой, Читатель? Ты не сопротивляешься? Не убегаешь? Ах, тебя это устраивает… Ах, ты тоже не прочь… Да, ты полновластный герой книги, но даст ли это право уестествлять все женские персонажи? Прямо вот так, с бухты-барахты… Мало тебе романа с

Людмилой, чтобы придать всей фабуле теплоту и прелесть амурной истории? Зачем, скажи на милость, связываться еще с сестрой (или с той, которую ты принимаешь за сестру) – с пресловутой Лотарией-Коринной-Шейлой? Если разобраться, тебя к ней вовсе и не тянуло… Тебе, естественно, хочется наверстать упущенное, ведь на протяжении нескольких глав ты послушно следовал ходу событий. Но не таким же способом! А может, и в этом случае ты поступаешь против своей воли? Ты прекрасно знаешь, что эта девица все пропускает через голову. Свои замыслы она осуществляет, невзирая ни на какие последствия… Это не больше чем идейная блажь… С чего вдруг ты клюнул на ее доводы? Будь начеку, Читатель, здесь все сплошная химера…

Вспышки и щелканье фотоаппарата пожирают белизну ваших судорожно снующих друг на друге нагих тел.

– Капитан Александра, опять ты разлеглась под арестантом в чем мать родила! – возвещает невидимый фотограф. – Эти моментальные фото пополнят твое личное дело… – И насмешливый голос удаляется.

Альфонсина-Шейла-Александра встает и прикрывается.

– Ни на минуту нет покоя, – раздраженно фыркает она. – В работе на две враждебные разведки есть одна загвоздка: и тут и там тебя все время шантажируют.

Ты тоже приподнимаешься. И видишь, что запутался в распечатанной ленте. Начало романа изогнулось на полу, как игривая кошка. На сей раз твой собственный сюжет прерывается на самом захватывающем месте. Быть может, теперь ты все-таки сумеешь дочитать твои неистощимые романы…

Александра-Шейла-Коринна отрешенно нажимает на кнопки блоков памяти. Она снова превратилась в прилежную программистку, целиком поглощенную своим делом.

– Что-то барахлит, – бормочет она. – Все уже должно быть распечатано… Ерунда какая-то…

Ты и без того догадался. У Гертруды-Альфонсины выдался сегодня беспокойный денек, вот и нажала не на ту кнопку. Стройные ряды слов, составлявшие текст Калисто Бандеры, были заложены в электронную память, чтобы явиться на свет в любую секунду. Но после мгновенного размыкания цепи они разладились. Теперь разноцветные проводки перемалывают мельчайшие крупицы раздробленных слов: на-на-на, то-то-то, от-от-от, что-что-что,

выстроенных в колонки сообразно своей частоте. Книгу уже не узнать. Она раскрошилась, сгладилась, подобно песчаной дюне, развеянной ветром.

Вокруг зияющей ямы

Когда поднимаются стервятники, значит, ночь на исходе. Так говаривал мой отец. И я слышал, как хлопают в темном небе тяжелые крылья; видел, как их тени застилают зеленые звезды. Они летели грузно; поначалу никак не могли оторваться от земли, от смутных очертаний кустарника, словно только в полете перья убеждались, что они перья, а не колючие листья. Но вот стервятники унеслись прочь; и снова появились звезды, теперь уже дымчатые. Небо подернулось зеленоватой пеленой. Светало. Я скакал по пустынной дороге в сторону деревни Окедаль.

– Начо, – сказал мне отец, – когда я умру, возьмешь мою лошадь, мой карабин, провизии на три дня и поскачешь вдоль высохшего русла до горы Сан-Иренео, пока не увидишь дым над крышами Окедаля.

– Окедаля? – переспросил я. – А что там, в Окедале? Кого мне нужно найти?

Голос отца звучал все слабее: говорил он медленно; по лицу разливалась бледная синева.

– Я должен открыть тебе тайну, которую хранил долгие годы… Это длинная история…

Отец был при последнем издыхании. Он страсть как любил вдаваться в подробности, до мелочей обсказывать всю предысторию, и я боялся, что он так и не дойдет до главного.

– Скорее, отец. Назови имя человека, которого я должен отыскать в Окедале…

– Это твоя мать… Ты не знаешь ее… Она живет в Окедале… Твоя мать ни разу не видела тебя, с тех пор как ты появился на свет…

Я ждал, что перед смертью он заговорит со мной о матери. Это был его долг. Все свое детство и отрочество я не представлял себе, как она выглядит. Я даже не знал имени родившей меня женщины и не догадывался, почему отец оторвал меня от материнской груди и обрек на жизнь, полную тревог и скитаний.

– Кто она? Как ее имя?

Одно время я без устали расспрашивал его о матери. И отец много рассказывал. Но все это были сплошные выдумки, одна чище другой.

Он представлял ее то несчастной нищенкой, то богатой иностранкой, разъезжавшей в красном автомобиле; то монашкой-затворницей, то наездницей-циркачкой; она то умирала при родах, то пропадала без вести после землетрясения. В конце концов я решил не задавать больше вопросов и дождаться, когда он сам обо всем расскажет. Едва мне исполнилось шестнадцать лет, как отца сразила желтая лихорадка.

– Я расскажу обо всем по порядку, – задыхаясь, проговорил отец. – Когда доберешься до Окедаля и скажешь: «Меня зовут Начо. Я – сын дона Анастасио Саморы», тебе придется выслушать много всякой всячины – и небылиц, и сплетен, и оговоров. Так вот, знай…

– Имя, имя моей матери, скорее!

– Сейчас. Пришло время тебе узнать…

Но время так и не пришло. Сбивчивая речь отца заплутала в бесконечных предисловиях, сменилась непрерывным хрипом и угасла навсегда. Юноша, скакавший теперь в темноте по крутому подъему на гору Сан-Иренео, по-прежнему не ведал, с какими истоками ему предстояло слиться.

Мой путь пролегал по дороге вдоль высохшего русла горной реки. Подо мной раскинулось глубокое ущелье. Закат, нависший над призрачными верхушками деревьев, не просто предвещал новый день. Этот день как бы предшествовал всем остальным дням. Он знаменовал время, когда каждый день еще был нов, словно тот, изначальный день, когда люди поняли, что такое день.

Светало. Вскоре развиднелось настолько, что показался противный берег реки. Вдоль берега вилась дорога; по ней, вровень со мной, ехал всадник. Через плечо у него было перекинуто длинноствольное ружье.

– Эй! – окликнул я его. – Далеко ли до Окедаля? Всадник не оглянулся. Точнее, вышло еще хуже. На миг мой окрик заставил его повернуть голову (иначе я принял бы его за глухого), но он тут же снова устремил взгляд на дорогу и продолжал ехать дальше, не удостоив меня ответом или приветствием.

– Эй! Тебе говорят! Ты что, глухой? Или немой? – крикнул я. Но всадник только мерно покачивался в седле в такт движениям своего вороного коня.

Неизвестно, сколько времени мы ехали вместе в ночи, разделенные крутыми берегами пересохшей реки. Казалось, от источенного известняка того берега отзываются неровным эхом копыта моей

кобылы; в действительности им вторил цокот вороного коня моего попутчика.

Всадник был широкоплечий малый с длинной шеей и в потрепанной соломенной шляпе. Подумаешь, важная птица, оскорбился я и в сердцах пришпорил кобылу; решил оторваться от него, чтобы не мозолил глаза. Отъехал я немного и вдруг, как по наитию, обернулся. Всадник уже успел снять с плеча ружье и вскидывал его, направляя на меня. Я мгновенно положил руку на приклад карабина, торчавшего из пристегнутой к седлу кобуры. Как ни в чем не бывало, он закинул ружье за плечо. С этой минуты мы ехали шаг в шаг, каждый вдоль своего берега, зорко приглядывая друг за другом, дабы не подставить попутчику спину. Моя кобыла подстраивалась под шаг вороного коня, как будто сообразив, в чем дело.

Так и эта повесть – подстраивается под неспешную поступь кованых копыт и взбирается по горным тропинкам к месту, хранящему тайну прошлого и будущего, вобравшему время, свернутое кольцами, точно лассо, накинутое на переднюю луку седла. Я заранее знаю, что долгий путь в Окедаль будет все же короче другого пути, который мне предстоит проделать после того, как я доберусь до этого последнего селения на краю света, на краю времени моей жизни.

– Меня зовут Начо. Я сын дона Анастасио Саморы, – обратился я к старому индейцу; он сидел, прислонившись спиной к церковной стене. – Где наш дом?

«Может, он знает», – подумал я.

Старик приподнял красные, набрякшие, как у индюка, веки. Из-под откинутого пончо выпростался длинный, сухой палец-лучина и указал на палаццо Альварадо – единственное палаццо посреди окаменевшей грязи и жалких хибар, именовавшихся деревней Окедаль. Барочный фасад, казалось, попал сюда по недоразумению, напоминая скорее кусок забытой театральной декорации. Пару веков назад это место, должно быть, считалось золотым дном. Когда же ошибка вскрылась, для недавно построенного палаццо началась эпоха медленного увядания.

Слуга, взявшийся присмотреть за моей лошадью, повел меня сквозь вереницу строений. По моим представлениям, мы должны все больше углубляться внутрь, а мы, как будто наоборот, выбираемся наружу. Из одного дворика мы попадаем в другой, словно двери в этом палаццо

служат только для выхода. Иные места с первого взгляда вызывают во мне отчуждение. Иные пробуждают далекие воспоминания или только намеки на воспоминания; обнажают дремавшие в памяти впадины. Все эти ощущения призвано передать наше повествование. Увиденные картины стремятся заполнить пустующие ложбинки памяти, но, едва возникнув, окрашиваются цветом забытых снов.

Сменяют друг друга первый дворик, в котором вывешены ковры (роюсь в памяти, пытаясь воскресить воспоминания о детской кроватке, стоящей в роскошных покоях); второй дворик, заваленный мешками с люцерной (силюсь припомнить хуторок, где прошло мое раннее детство); третий дворик, куда выходят конюшни (я появился на свет прямо в хлеву?). День должен быть в полном разгаре, однако окутавший повествование сумрак никак не прояснится. Сквозь него не различить подсказок, по которым зрительное воображение могло бы вывести явственные фигуры; не разобрать и слов; слышны только невнятные голоса и приглушенное пение.

Лишь в третьем дворике ощущения постепенно обретают форму. Вначале доносятся запахи; затем отблески огня высвечивают лица индейцев, собравшихся в огромной кухне Анаклеты Игерас. Лица без возраста. Их гладкая кожа выглядит очень старой и одновременно совсем молодой. Верно, они уже были старцами, когда здесь жил мой отец; а может, это сыновья отцовских сверстников, и теперь они взирают на его сына, как их отцы взирали на него, чужака, пожаловавшего к ним в один прекрасный день на своей лошади и со своим карабином.

На фоне закопченного очага и пламени выступает статная фигура женщины; на плечах у нее полосатая рыже-красная накидка. Анаклета Игерас готовит мне острые биточки.

– Кушай, сынок. Ты потратил целых шестнадцать лет, чтобы найти дорогу домой, – говорит она.

Почему она сказала «сынок»? Потому что так принято? Или это слово означает сейчас то, что оно означает? От острых приправ, которые Анаклета добавила в блюдо, у меня горит во рту. Жгучий привкус будто бы включает в себя все остальные привкусы, доведенные до крайности. Они так перемешаны, что я не в состоянии ни распознать, ни назвать их; кажется, что языки пламени лижут мне

нёбо. Мысленно перебираю известные мне привкусы, стараюсь выделить этот всеобъемлющий привкус и прихожу к противоположному, но, вероятно, равноценному ощущению – это материнское молоко; его изначальный вкус содержит в себе все последующие.

Смотрю на лицо Анаклеты – прекрасный индейский лик, чуть уплотненный возрастом; без единой морщинки. Смотрю на ее пышное тело в полосатой накидке и спрашиваю себя, не за этот ли некогда высокий, а теперь отлогий уступ цеплялся я младенческими ручонками.

– Так ты знала моего отца, Анаклета?

– Лучше бы мне его не знать, Начо. Не в добрый час явился он в Окедаль…

– Почему, Анаклета?

– Мы, индейцы, видели от него только зло… Да и бледнолицые тоже… Потом он исчез… Но и уехал он из Окедаля не в добрый час…

Индейцы не сводят с меня глаз. Детских глаз, беспощадно глядящих на вечное настоящее.

Амаранта. Так зовут дочь Анаклеты Игерас. У нее большие раскосые глаза, острый нос с широкими крыльями, тонкие волнистые губы. У меня такие же глаза и губы, такой же нос.

– Правда, мы с Амарантой похожи? – спрашиваю я у Анаклеты.

– Все уроженцы Окедаля на одно лицо. Что индейцы, что белые. Не отличишь. Да и немудрено: наше горное селение стоит особняком. Живет здесь несколько семей. Веками мы вступаем в брак только между собой.

– Но мой отец был со стороны…

– То-то и оно. Если мы не жалуем пришлых, значит, на это есть свои причины.

Индейцы глубоко вздыхают, приоткрыв рты. У них редкие, изъеденные зубы, без десен, совсем как у скелетов.

Проходя по второму дворику, я заметил пожелтевшую фотографию юноши. Фотографию украшали гирлянды цветов и озаряла лампадка.

– По виду этот умерший с фотографии тоже здешний… – говорю я Анаклете.

– Это Фаустино Игерас, царствие ему небесное! – отзывается Анаклета, а индейцы вполголоса произносят молитву.

– Он был твоим мужем, Анаклета?

– Моим братом. Он был опорой и защитой нашего дома и нашего рода, покуда враг не перешел ему дорогу…

– У нас с тобой одинаковые глаза, – обращаюсь я к Амаранте, нагнав ее у мешков во втором дворике.

– Мои больше, – отвечает она.

– Давай проверим, – предлагаю я и подношу к ней лицо так, что дуги наших бровей соприкасаются. Затем, прижавшись бровью к ее брови, разворачиваюсь. Теперь мы касаемся висками, щеками и скулами.

– Вот видишь, уголки глаз кончаются в одной точке.

– Ничего я не вижу, – говорит Амаранта, но не отстраняет лица.

– И носы тоже, – продолжаю я, уткнувшись носом в ее нос, немного наискосок, чтобы совпали профили. – И губы… – выдавливаю я, прильнув к ней губами и накрыв половинкой моего рта половинку ее.

– Больно! – вскрикивает Амаранта. Я наваливаюсь на нее всем телом, прижимаю к мешкам и чувствую, как выпирает ее грудь и вздрагивает животик.

– Каналья! Скотина! За этим ты притащился в Окедаль! Весь в отца! – раздается над моим ухом громогласный голос Анаклеты.

Она хватает меня за волосы и отшвыривает к столбам. Амаранта, получив пощечину, падает спиной на мешки.

– Моей дочери тебе не видать как своих ушей!

– Почему это не видать? Что нам мешает? – возмущаюсь я. Я – мужчина, она – женщина… Если судьбе будет угодно, чтобы мы полюбили друг друга, пусть не сегодня, когда-нибудь, я попрошу ее руки!

– Проклятие! – истошно кричит Анаклета. – Это невозможно! Слышишь, невозможно!

«Значит, Амаранта моя сестра? – проносится у меня в голове. – Почему же Анаклета не признается, что она моя мать?»

– Что ты раскричалась, Анаклета? – говорю я. – Может, мы связаны узами крови?

– Крови? – Анаклета приходит в себя. Края накидки вздымаются, застилая ей глаза. – Твой отец явился издалека… Откуда между нами взяться кровному родству?

– Но я родился в Океdale… От местной женщины…
– Поищи сородичей где-нибудь еще, а не среди бедных индейцев… Неужто отец ничего тебе не говорил?
– Ничего, клянусь тебе, Анаклета. Я не знаю, кто моя мать…
Анаклета поднимает руку и указывает в сторону первого дворика:
– Почему хозяйка не соизволила тебя принять? Почему отправила к слугам? К ней посылал тебя отец, а не к нам. Ты должен пойти к донье Хасмине и сказать ей: «Меня зовут Начо Самора и Альварадо. Мой отец велел мне припасть к твоим ногам».
Здесь в повести должно быть представлено мое душевное смятение, как после бури, всколыхнувшей мои чувства. Ведь я узнал, что половина моего имени, столь тщательно скрываемая от меня, относится к хозяевам Океdaля. Значит, и необозримые угодья принадлежат моему роду. Путешествие вспять во времени вовлекает меня в темный водоворот; один за другим мелькают следующие дворики палаццо Альварадо, одинаково знакомые и неведомые моей пустующей памяти. Схватив Амаранту за косу, я выпаливаю Анаклете первое, что приходит в голову:
– Стало быть, я ваш хозяин! Хозяин твоей дочери! И я заберу ее, когда захочу!
– Нет! – вырывается у Анаклеты. – Только тронь – убью обоих!
Амаранта убегает. Напоследок она корчит гримасу и скалится, не то плача, не то смеясь.

Парадная столовая Альварадо тускло освещена канделябрами, залитыми многолетним воском. Наверное, такое освещение поддерживается нарочно, чтобы скрасить облупленную штукатурку и драные кружевные занавески. Госпожа пригласила меня отужинать. Лицо доньи Хасмины покрыто таким слоем пудры, что кажется, он вот-вот отлетит и шмякнется в тарелку. Под крашеными медными волосами, завитыми щипчиками, проглядывает все та же индианка. Массивные браслеты поблескивают при каждом взлете ложки. Хасинта, ее дочь, хоть и воспитывалась в колледже и одета в белый спортивный свитер, а размахивает руками и стреляет глазками похлеще любой индианки.
– Было время, когда в этой гостиной стояли игровые столы, – рассказывает донья Хасмина. – Играть начинали примерно в этот час и

продолжали всю ночь. Иногда за столом проигрывались целые имения. Дон Анастасио Самора обосновался здесь только ради игры. Выигрывал он постоянно, вот и поползли слухи, будто он шулер.

– Однако имение он ни разу не выиграл, – считаю я своим долгом уточнить.

– Твой отец на рассвете умудрялся спустить весь ночной выигрыш. И потом, такому волоките ничего не стоило промотать то немногое, что у него оставалось.

– В этом доме у него были романы?.. – спрашиваю я робко.

– Там, там, в другом дворе… По ночам он водил шашни там… – говорит донья Хасмина, кивая в направлении индейской половины.

Хасинта прыскает со смеху, прикрывая рот ладошкой. В этот момент я понимаю, что она такая же, как Амаранта, только одета и причесана иначе.

– В Окедале все похожи друг на друга, – замечаю я. – Во втором дворике висит фотография: прямо-таки обобщенный портрет…

По лицу обеих пробегает тень волнения. Мать произносит:

– Это покойный Фаустино Игерас… Он был полукровкой: наполовину индеец, наполовину белый. Зато нравом стопроцентный индеец. И жил с ними, и стоял за них… и пропал за них.

– А белым он был по отцовской или по материнской линии?

– Ишь какой любопытный…

– У вас в Окедале всегда так? – спрашиваю я. – Белые мужчины гуляют с индианками, а индейцы – с белыми женщинами?

– Индейцев и белых в Окедале не различить. Кровь перемешалась со времен Конкисты. Незыблемо лишь одно: господа не должны сходиться со слугами. Между собой мы вольны поступать как угодно… Но со слугами – никогда… Дон Анастасио был из помещичьего сословия, хоть и бедствовал хуже последнего оборванца…

– При чем здесь мой отец?

– А ты поспрашивай народ, о чем поется в индейской песне:

Где прошла нога Саморы,
Счеты квиты: или-или —
Спит младенец в колыбели,

А мертвец – в могиле…

– Слышала, что сказала твоя мать? – говорю я Хасинте, как только мы остаемся с глазу на глаз. – Ты и я можем делать все, что угодно.

– Если захотим. Но мы не хотим.

– А я вот хочу.

– Чего?

– Укусить тебя.

– Смотри, как бы самого не обглодали до косточек, – скалит она зубы.

В спальне широкая кровать, застланная белыми простынями. Постель то ли не убрана, то ли, наоборот, приготовлена ко сну. С высокого балдахина свисает мелкая сетка от комаров. Тесню Хасинту в складки сетчатого полога. Она сопротивляется и в то же время увлекает меня. Стараюсь задрать ей юбку; она отбивается, расстегивая мои пряжки и пуговицы.

– Ой, у тебя здесь родинка! Смотри, и у меня на том же месте!

Тут на голову и плечи мне обрушивается град тумаков. Это донья Хасмина накинулась на нас, словно фурия:

– Пусти ее, ради всего святого! Прекратите, вам нельзя! Прекратите! Вы сами не ведаете, что творите! Ты такой же негодяй, как твой отец!

С трудом беру себя в руки:

– Что вы хотите этим сказать, донья Хасмина? С кем он здесь сошелся? С вами?

– Грубиян! Убирайся к слугам! Прочь с глаз моих! Якшайся себе с простыми девками, как твой отец! Ступай к своей родительнице, вон отсюда!

– Кто моя мать?

– Анаклета Игерас, хоть она и не признается в этом с тех пор, как убили Фаустино.

Ночью дома в Окедале сплющиваются и припадают к земле под тяжестью низкой, окутанной злотворными парами луны.

– Анаклета, что это за песню сложили о моем отце? – спрашиваю я у женщины, застывшей в дверях подобно статуе в церковной нише. – Там говорится о каком-то мертвеце, о какой-то могиле…

Анаклета берет фонарь. Вместе мы идем по маисовому полю.

– На этом месте схлестнулись твой отец и Фаустино Игерас, – начинает Анаклета. – И рассудили, что один из них лишний на этом свете. И вместе вырыли яму. С той минуты, как порешили они биться насмерть, от прежней ненависти не осталось и следа. И рыли они яму в мире и согласии. Потом один встал на одном краю ямы, другой – на другом. Каждый зажал в правой руке нож, а на левую намотал пончо. Поочередно один из них перепрыгивал через яму и бил противника ножом. Тот заслонялся пончо и норовил столкнуть врага в яму. Так дрались они до рассвета. И земля возле ямы пропиталась кровью и перестала пылить. Все индейцы Окедаля встали вокруг зияющей ямы и двух запыхавшихся, окровавленных бойцов. И стояли они молча как вкопанные, чтобы не мешать праведному суду Божьему, ибо от его исхода зависела их участь, а не только судьбы Фаустино Игераса и Начо Саморы.

– Но Начо Самора – это я…

– Так звали тогда и твоего отца.

– И кто победил, Анаклета?

– Что за вопрос, мальчик? Победил Самора. Пути Господни неисповедимы. Фаустино похоронили в этой земле. Но для твоего отца то была горькая победа. В ту же ночь он покинул Окедаль, и больше его здесь не видели…

– О чем ты, Анаклета? Ведь эта яма пуста!

– Позднее индейцы из ближних и дальних деревень стали стекаться на могилу Фаустино Игераса. Они уходили биться за революцию и просили у меня реликвии: то прядь волос, то лоскуток пончо, то запекшуюся кровь из раны. Индейцы помещали их в золотые ковчежцы и несли во главе боевых полков. Тогда-то мы и решили раскопать могилу и перезахоронить труп. Но Фаустино там не оказалось: могила была пуста. С того времени и пошли всякие предания: одни говорят, будто видели, как ночью он скачет в горах на вороном коне, охраняя сон индейцев; другие – будто в тот день, когда индейцы сойдут с гор, он снова явится и будет скакать впереди грозного воинства…

«Значит, это был он! Я видел его!» – так и хочется мне воскликнуть, но я настолько потрясен, что не могу вымолвить ни слова.

Индейцы с горящими факелами молча подошли к нам и обступили зияющую яму.

И вот из толпы выходит широкоплечий малый с длинной шеей, в потрепанной соломенной шляпе. Внешне он очень похож на каждого второго в Окедеале: тот же разрез глаз, та же линия носа и губ, что у меня.

– Кто дал тебе право трогать мою сестру, Начо Самора? – спрашивает он, и в его правой руке сверкает лезвие ножа. Левая рука обмотана пончо так, что край свисает до самой земли.

Индейцы издают звук, напоминающий скорее не ропот, а испуганный вздох:

– Кто ты?

– Фаустино Игерас. Защищайся.

Я встаю по другую сторону ямы, наматываю на левую руку пончо, сжимаю в правой руке нож.

Глава десятая

Ты пьешь чай с Аркадием Порфиричем. Это человек большого ума, тонкого вкуса; одна из самых светлых голов Иркании. Он по праву занимает пост Генерального директора Архива государственной полиции. Именно с ним тебе приказано встретиться сразу по приезде в Ирканию. Такое задание ты получил в Верховном командовании Атагвитании. Аркадий Порфирич принял тебя в уютных помещениях архивной библиотеки. «Самой полной и современной в Иркании, – заметил он первым делом. – Все изъятые книги систематизируются и заносятся в каталог. Затем их микрофильмируют и отправляют на хранение, будь то книги, отпечатанные в типографии, на гектографе, машинописные тексты или рукописи».

Когда власти Атагвитании, засадившие тебя за решетку, пообещали тебе свободу при условии, что ты согласишься выполнить некое задание в некой далекой стране («официальное задание с тайными целями, а также тайное задание с официальными целями»), твоей первой мыслью было отказаться. Тебя никогда особо не тянуло на государственную службу; желания стать профессиональным разведчиком и вовсе не наблюдалось; твои обязанности в этой операции были изложены крайне смутно и уклончиво; всех этих причин было вполне достаточно, чтобы предпочесть тюремную камеру непредсказуемой, чреватой опасностями поездке в суровые северные просторы Иркании. С другой стороны, оставаясь в их руках, ты мог ожидать самого худшего: тебя начинало привлекать задание, которое «по нашему мнению, может заинтересовать вас как читателя»; наконец, всегда можно прикинуться, будто ты заодно с ними, и таким образом расстроить их планы. Короче говоря, ты согласился.

Аркадий Порфирич, похоже, в курсе твоих дел. Он прекрасно понимает, что́ ты сейчас должен чувствовать.

– Прежде всего не следует забывать, – говорит он ободряюще и наставительно, – что полиция является мощной объединяющей силой в мире, обреченном без нее на распад. Поэтому естественно, что полиции различных, а порой и враждебных режимов всегда находят общий язык. В книгоиздательском деле…

– Будет введена единая цензура?

– Не совсем. Мы будем дополнять и поддерживать друг друга…

Генеральный директор подводит тебя к карте мира. Разными цветами на ней обозначены:

страны, где систематически конфискуются все книги;

страны, где могут распространяться только те книги, которые изданы или одобрены Государством;

страны, где существует грубая, приблизительная и непредсказуемая цензура;

страны, где существует тонкая, многоопытная цензура, которая обязательно докопается до скрытого смысла и подспудных намеков, поскольку тамошние цензоры – дотошные, зловредные педанты;

страны, где книги распространяются двумя путями: легальным и подпольным;

страны, где нет цензуры, потому что нет книг, зато есть множество потенциальных читателей;

страны, где нет книг и никто не жалуется на их отсутствие;

и наконец, страны, где каждый день выпекаются книги на любой вкус и лад, ко всеобщему безразличию.

– Сегодня нигде не ценят печатное слово так высоко, как в странах с полицейским режимом, – продолжает Аркадий Порфирич. – Если на подавление литературы выделяются крупные суммы – это верный признак того, что в данной стране литература действительно играет важную роль. Если литература вызывает к себе столь неослабный интерес, она приобретает поистине громадное значение, совершенно невообразимое в странах, где, предоставленная самой себе, она прозябает в качестве безобидного развлечения. Разумеется, механизм подавления должен работать с небольшими передышками. Время от времени цензура закрывает на что-то глаза, потом снова закручивает гайки; и снова дает поблажки; она непредсказуема в своих суждениях, ведь если вообще нечего будет подавлять, весь механизм заржавеет и придет в негодность. Скажем прямо: любой режим, даже самый авторитарный, держится за счет неустойчивого равновесия; ему нужно постоянно оправдывать существование аппарата подавления, а значит, и того, что́ подавлять. Желание писать нечто раздражающее законную власть есть одно из необходимых условий для поддержания этого равновесия. Поэтому на основе тайного договора со странами, где

установлен враждебный нам общественный строй, мы создали совместную организацию – с которой вы благоразумно согласились сотрудничать – для ввоза запрещенных книг сюда и вывоза запрещенных книг отсюда.

– Это означает, что книги, запрещенные у вас, приемлемы у них, и наоборот?

– Ни в коем случае. Книги, находящиеся под запретом здесь, находятся под строжайшим запретом там; а находящиеся под строжайшим запретом там, строго-настрого запрещены здесь. Из вывоза собственных запрещенных книг в страну с враждебным общественным строем и ввоза в свою страну их запрещенных книг каждая страна извлекает по меньшей мере двойную выгоду: во-первых, воодушевляются противники враждебного строя; во-вторых, происходит полезный обмен опытом между органами полиции.

– В моем задании, – поспешно уточняешь ты, – предусмотрены встречи только с работниками полицейского управления Иркании, поскольку сочинения противников режима могут попасть в наши руки исключительно через ваши каналы. – (Я, конечно, умалчиваю о том, что мне поручено также установить прямую связь с подпольной сетью оппозиции и, в зависимости от обстоятельств, вести игру на этой стороне против той или наоборот.)

– Наш архив полностью в вашем распоряжении, – заверяет Генеральный директор. – Могу показать вам редчайшие рукописи, авторские редакции произведений, дошедшие до читателей после нескольких фильтров цензурных комиссий. Каждый раз оригинал урезали, изменяли, разбавляли и, наконец, выпускали в искаженном, слащавом, неузнаваемом виде. Только здесь, голубчик, вы можете читать по-настоящему.

– А вы читаете?

– То есть читаю ли я не только по долгу службы? Еще бы. Каждую папку, каждый документ, каждое вещественное доказательство, поступающие в архив, я читаю дважды. Но совершенно по-разному. Вначале я бегло просматриваю текст, чтобы определить, в какой из шкафов поместить микрофильм и в какой раздел каталога занести название. А вечером (вечера после присутствия я провожу в архиве; обстановка здесь, как видите, спокойная, расслабляющая) я устраиваюсь вот на этом диване, ставлю микрофильм редкой книги

или секретного дела и позволяю себе роскошь смаковать их в свое удовольствие.

Аркадий Порфирич закидывает ногу на ногу под скрип начищенных до блеска сапог и проводит пальцем за воротничком кителя, увешанного наградами.

– Не знаю, верите ли вы в Дух, сударь, – добавляет он. – Лично я верю. Я верю в диалог, который Дух непрерывно ведет с самим собою. И чувствую, что этот диалог совершается через мой взгляд, направленный на запрещенные страницы. Дух – это и Полиция, и Государство, которым я служу; и Цензура, равно как и тексты, находящиеся в нашем ведении. Дыхание Духа не нуждается в широкой аудитории, чтобы проявиться в полной мере. Оно веет в сумерках скрытых отношений между вечной тайной заговорщиков и вечной тайной Полиции. Дабы оживить его, достаточно моего беспристрастного чтения, чутко улавливающего дозволенные и недозволенные оттенки; чтения при свете этой лампы, в огромном здании безлюдного ведомства, когда можно непринужденно расстегнуть китель и впустить в себя призраков запретного, которых в дневные часы приходится неумолимо держать на расстоянии…

Нужно признать, что слова Генерального директора придают тебе бодрости. Если этот человек испытывает тягу к чтению, стало быть, не вся печатная продукция стяпана-сляпана всемогущими чиновниками и за пределами их цитаделей существуют другие пределы…

– А о заговоре апокрифистов, – спрашиваешь ты по возможности холодно и деловито, – вам что-нибудь известно?

– Разумеется, известно. Я получил уйму донесений по этому делу. Какое-то время нам казалось, что мы полностью владеем ситуацией. Службы безопасности крупнейших держав старались как можно глубже внедриться в эту весьма разветвленную организацию… Однако мозг заговора, неистощимый, словно Калиостро, фальсификатор постоянно уходил от нас… И нельзя сказать, что мы ничего о нем не знали: все его данные хранились в нашей картотеке; он числился как переводчик, деляга и мошенник, но истинные мотивы его действий оставались невыясненными. Он вроде бы не поддерживал связи с различными сектами, где произошел раскол среди его бывших соратников, и тем не менее продолжал оказывать косвенное влияние на их происки… Когда же мы все-таки вышли на него, оказалось, что

склонить мошенника на нашу сторону не так-то просто… Им двигали не деньги, не жажда власти и не тщеславие. Видимо, все это он делал ради женщины. Хотел завоевать ее сердце, а может, просто отомстить или показать ей, чего он стоит. Именно эту женщину нам и предстояло раскусить, чтобы вычислить дальнейшие ходы нашего Калиостро. Но кто она, мы так и не узнали. Лишь путем логических умозаключений я многое о ней уяснил. Впрочем, эти выводы не представишь в официальном докладе: наши руководящие органы еще не доросли до иных тонкостей…

– Для этой женщины, – продолжает Аркадий Порфирич, видя, как жадно ты впитываешь каждое его слово, – читать – значит отрешаться от всяких мыслей и предубеждений, чтобы с готовностью внимать голосу, который раздается, когда меньше всего этого ждешь; голос доносится неизвестно откуда, звучит за пределами книги, за пределами автора, за пределами условностей письма, возникает из несказанного, из того, что мир еще не сказал о себе и не придумал слов, чтобы это сказать. Другое дело Калиостро. Он хотел доказать, что за написанным словом – пустота и мир существует исключительно как уловка, выдумка, недоразумение, ложь. Если бы все упиралось лишь в это, мы преспокойно дали бы ему возможность доказать желаемое; мы – это представители разных стран и разных общественных строев, так как многие из нас предлагали ему сотрудничать. И он не отказывался, наоборот… Неясно было одно: то ли это он принимает наши правила игры, то ли мы становимся пешками в его игре… Вы спросите: а что, если он всего-навсего сумасшедший? Только я мог докопаться до тайны Калиостро. Я приказал нашим агентам похитить его, переправить сюда, продержать с неделю в одиночной камере, а затем допросил его сам. Нет, это было не сумасшествие, скорее отчаяние. Спор с той женщиной был давно проигран. Она вышла победительницей. Ее ненасытное читательское любопытство находило скрытые истины в самой приторной фальшивке и беспардонную фальшь в самых что ни на есть искренних словах. Что оставалось нашему фокуснику? Чтобы не оборвалась последняя ниточка, связывавшая их, он продолжал сеять неразбериху в названиях книг, фамилиях авторов, псевдонимах, языках, переводах, изданиях, обложках, титульных листах, главах, завязках, концовках – лишь бы она узнавала его метку, приветственный жест без особой надежды на

ответ. «Я осознал свою небезграничность, – признался он мне. – Во время чтения происходит нечто такое, на что я уже не в силах повлиять». Могу добавить, что эту границу не в состоянии перейти даже вездесущая полиция. Мы способны запретить людям читать, но в указе о запрете чтения все равно будет прочитываться та самая истина, которую мы хотели бы скрыть от прочтения…

– И что же с ним сталось? – спрашиваешь ты с участием, продиктованным не столько враждебностью, сколько сочувствием.

– Это был конченый человек. Мы могли сделать с ним все, что угодно: отправить на каторгу или, скажем, дать какое-нибудь незначительное поручение в наших спецслужбах. Однако…

– Однако…

– Я устроил ему побег. Фиктивный побег. Фиктивный переход границы. И он снова замел следы. Иногда я узнаю его руку в случайных материалах… Он явно прибавил в мастерстве… Теперь он занимается мистификацией ради мистификации… Мы уже бессильны что-либо сделать. К счастью…

– К счастью?

– …и от нас должно что-то ускользать… Чтобы власть сохранила поле деятельности, пространство, на которое она могла бы наложить руку… Пока я знаю, что на свете есть кто-то, кто показывает фокусы из любви к фокусам; пока есть женщина, которой нравится чтение ради чтения, я лишний раз убеждаюсь, что жизнь продолжается… И каждый вечер я предаюсь чтению, как та далекая, незнакомая читательница…

Ты быстро выхватываешь из сознания несуразное наложение образов Генерального директора и Людмилы и наслаждаешься апофеозом Читательницы, ее искрящимся видением, восстающим из разочарованных слов Аркадия Порфирича; ты упиваешься уверенностью, подкрепленной всезнающим Директором, в том, что между тобой и Людмилой нет больше преград и тайн, а твой заклятый враг Калиостро – не более чем патетическая тень, исчезающая вдали…

Для полного счастья тебе не хватает лишь разрушить чары прерванного чтения. По этому поводу ты тоже хотел бы переговорить с Аркадием Порфиричем:

– Мы собирались пополнить ваше собрание запрещенной книгой, пользующейся в Атагвитании огромным спросом. Это роман Калисто

Бандеры «Вокруг зияющей ямы». Правда, наша полиция малость переусердствовала и отправила под нож весь тираж книги. Насколько нам известно, существует перевод этого романа на ирканский; ксерокопии перевода нелегально ходят по рукам в вашей стране. Вы об этом что-нибудь слышали?

Аркадий Порфирич встает и направляется к ящикам картотеки:

– Калисто Бандера, вы сказали? Ага, вот: на сегодня из его вещей, кажется, ничего нет. Хотя, если вы потерпите недельку-другую, я приберегу для вас изысканнейший сюрприз. По донесениям информаторов, один из самых крупных наших писателей, Анатолий Анатолин, тоже, кстати, запрещенный, давно работает над переложением романа Калисто Бандеры; действие романа будет происходить в Иркании. Из других источников нам стало известно, что Анатолий Анатолин заканчивает собственный роман под названием «Что ждет его в самом конце?». Мы уже подготовили операцию по изъятию романа, пока его не начали распространять нелегальным образом. Как только мы завладеем рукописью, я распоряжусь сделать для вас копию. Тогда вы сами убедитесь, та ли это книга, которую вы ищете.

Ты мгновенно разрабатываешь план действий. С Анатолием Анатолиным ты свяжешься напрямую. Ты должен опередить агентов Аркадия Порфирича, получить рукопись, спасти ее от конфискации, спрятать в безопасном месте и скрыться самому – как от полиции Иркании, так и от полиции Атагвитании…

В ту ночь тебе снится сон. Ты в поезде. Длинном поезде, мчащемся по Иркании. Все пассажиры читают толстые книги в переплете. В странах, где газеты и журналы малопривлекательны, подобные картины встречаются чаще, чем где бы то ни было. Тебе кажется, что кто-то из пассажиров или даже все они читают один из не дочитанных тобою романов; более того – что все не дочитанные тобою романы, в переводе на незнакомый тебе язык, оказались вдруг в твоем купе. Ты пытаешься прочесть надпись на корешках книг, хотя заранее знаешь, что это бесполезно: новый язык для тебя – это китайская грамота.

Один из пассажиров выходит в коридор и оставляет на своем месте книгу с закладкой. Едва он скрылся, ты берешь книгу, листаешь ее и понимаешь, что это та самая книга. И тут ты замечаешь, что все

пассажиры повернулись к тебе и смотрят с явным неодобрением, осуждая твою бесцеремонность.

В замешательстве ты встаешь и выглядываешь в окошко (но книги из рук не выпускаешь). Поезд остановился на разъезде, у стрелки, возле безымянного полустанка. Кругом белым-бело: снег, туман; не видно ни зги. На соседнем пути стоит поезд с запотелыми стеклами. Он следует в противоположном направлении. В окошке напротив дугообразное движение руки в перчатке отчасти возвращает стеклу былую прозрачность; в образовавшемся просвете возникает женская фигура в пушистой шубке. «Людмила… – зовешь ты, – Людмила, помнишь, – изъясняешься ты больше жестами, чем словами. – Помнишь, ты искала книгу. Я нашел ее, вот она…» Ты хочешь опустить тугую оконную створку, чтобы передать ей книгу сквозь толстые сосульки, свисающие с крыши поезда.

– Я ищу книгу, – произносит расплывчатая фигура, протягивая тебе томик, похожий на твой, – которая дает представление о мире после конца света; понимание того, что мир – это конец всего сущего, что единственная сущая вещь на свете – это конец света.

– Нет, это не так! – кричишь ты, выискивая в непонятной книге фразу, которая опровергла бы слова Людмилы. В этот момент оба поезда трогаются и разъезжаются.

Холодный ветер продувает столичный парк Иркании. Ты сидишь на скамейке и ждешь Анатолия Анатолина. Он должен принести рукопись своего нового романа «Что ждет его в самом конце?». Молодой человек с длинной светлой бородой, в длинном темном пальто и кожаной кепке садится рядом с тобой.

– Делайте вид, что ничего не происходит. Парк под постоянным наблюдением.

Живая изгородь скрывает вас от посторонних взглядов. Тонкая пачка бумаги переходит из внутреннего кармана пальто Анатолия во внутренний карман твоего полупальто. Анатолий Анатолин достает еще одну пачку из внутреннего кармана пиджака.

– Пришлось рассовать рукопись по всем карманам, а то очень выпирает, – говорит Анатолий, вынимая свернутые трубочкой страницы из очередного кармана. Ветром у него вырывает из рук страничку; он бросается ее подбирать. Не успевает он извлечь из

заднего кармана брюк еще один свиток, как из-за кустов выскакивают двое агентов в штатском и увозят его.

Что ждет его в самом конце?

Иду по главному Проспекту нашего города и мысленно вычеркиваю детали, которые решил не принимать во внимание. Прохожу мимо здания министерства. Фасад отягощен кариатидами, колоннами, балюстрадами, цоколями, метопами, консолями. Чувствую, что надо бы его сократить, ужать до гладкой вертикальной поверхности, матового стеклянного листа, перегородки, ограничивающей пространство, но не бросающейся в глаза. Впрочем, даже в таком упрощенном виде это здание продолжает оказывать на меня гнетущее воздействие. Решаю полностью его упразднить. Теперь на его месте над голой землей вздымается молочное небо. Тем же манером вычеркиваю еще пять министерств, три банка и парочку небоскребов крупных компаний. Мир так сложен, запутан и перенасыщен, что для большей ясности нужно убавлять, убавлять.

Гуляя по Проспекту, то и дело сталкиваюсь с людьми, вид которых мне по разным причинам неприятен. Начальники напоминают о моем подчиненном положении. Подчиненные – о моем начальственном положении, мерзком и пошлом, как пошлы зависть, раболепие и вызываемая ими злоба. Не колеблясь, вычеркиваю и тех и других. Краем глаза вижу, как они утончаются и тают на легком, вспененном туманце.

Во время этой операции я должен быть очень осторожен и не задеть обычных прохожих, совершенно посторонних мне людей, которые никогда меня не раздражали. Наоборот, иные лица – стоит лишь вглядеться в них – пробуждают во мне неподдельный интерес. Но если окружающий мир сведется к толпе незнакомцев, я неминуемо почувствую себя одиноким и неприкаянным. Так что лучше их тоже вычеркнуть. Всех разом. И дело с концом.

В упрощенном мире гораздо больше возможностей встретиться с теми немногими людьми, с которыми мне приятно встречаться. Например, с Франциской. Это моя знакомая. Я радуюсь каждой нашей встрече. Мы шутим, смеемся, болтаем о том о сем; с другими, может, об этом и не поболтаешь, зато нам интересно; на прощание мы говорим, что обязательно должны поскорее увидеться. Проходят

недели, месяцы, и вот мы снова случайно встречаемся на улице. Радостные возгласы, смех, очередные обещания поскорее увидеться, хотя ни я, ни она не прикладываем для этого никаких усилий; наверное, потому, что знаем: это будет уже совсем не то. Итак, в упрощенном, ужатом мире, когда еще ничего не предрешено и более частые встречи с Франциской только могут внести в наши отношения какую-то ясность – возможно, речь зайдет о браке или просто о совместной жизни, и в ней переплетутся семьи каждого из нас, наши предки и потомки, близкие и дальние родственники, друзья и знакомые; сольются наши доходы и наше имущество, – когда исчезнут все эти условности, безмолвно тяготеющие над нашими разговорами и сокращающие их до нескольких минут, встречи с Франциской должны стать еще радостнее и приятнее. Я, разумеется, стараюсь сделать так, чтобы наши пути совпали; для этого я упраздняю всех молоденьких женщин в светлых шубках, вроде той, что была на Франциске в последний раз; тогда, завидев ее издали, я смогу быть уверен, что это она, и не попаду в неловкое положение, и не обманусь в своих надеждах. Кроме того, я упраздняю всех молодых людей, которые подходят на роль ее друзей и, вполне вероятно, собираются остановить Франциску и занять ее легкой беседой как раз в тот момент, когда это случайно собираюсь сделать я.

Я слишком углубился в подробности личного свойства. Однако не следует думать, будто, вычеркивая все и вся, я руководствуюсь главным образом собственными, сиюминутными интересами. Вовсе нет, я стараюсь действовать, исходя из всеобщих интересов (и, стало быть, из собственных тоже, но косвенно). Если для начала я изничтожил попутно все государственные учреждения – и не только здания с парадными лестницами, колоннами у входа, вестибюлями, коридорами, картотеками, циркулярами и личными делами, но и заведующих отделами, генеральных директоров, младших инспекторов, временно исполняющих обязанности, штатных и внештатных сотрудников, – то лишь затем, что, по моему убеждению, их существование вредно или излишне для всеобщей гармонии.

В это время толпы служащих покидают раскаленные конторы, застегивают пальто с воротниками из искусственного меха и набиваются в автобусы. Я моргаю – и они улетучиваются; только редкие прохожие маячат вдалеке на пустынных улицах, с которых я

уже позаботился убрать легковушки, грузовики и автобусы. Приятно, когда улица такая же чистая и гладкая, как дорожка боулинга.

Далее я упраздняю казармы, караульные помещения, полицейские участки; людей в форме как не бывало. Видно, я хватил через край; та же участь постигла пожарных, почтальонов, дворников и представителей других профессий, которые заслуженно могли рассчитывать на несколько иное обхождение. Однако дело сделано. Лес рубят – щепки летят. Во избежание неприятных сюрпризов спешно упраздняю пожары, уборку улиц, а заодно и почту: от нее, в конечном счете, одни неприятности.

Проверяю, не остались ли где поликлиники, больницы, богадельни: пожалуй, единственная возможность сохранить здоровье – это вычеркнуть врачей, санитаров и больных. За ними следуют суды вкупе с прокурорами, адвокатами, подсудимыми и потерпевшими; и тюрьмы – с заключенными и надсмотрщиками. После этого я вычеркиваю университет со всем преподавательским составом; академию наук, искусств и изящной словесности; музей, библиотеку, памятники с управлением по надзору за памятниками; театры, кинотеатры, телевидение, газеты. Если кто думает, что я остановлюсь из уважения к пресловутой культуре, то он крупно ошибается.

Затем настает черед экономики. Слишком долго и разнузданно распоряжается она нашей жизнью. Что она из себя воображает? Один за другим растворяю магазины. Вначале те, где продаются товары первой необходимости; потом – торгующие предметами роскоши. Первым делом я опустошаю витрины; вслед за тем вычеркиваю прилавки, полки, продавщиц, кассирш, заведующих секциями. Растерянные покупатели на секунду замирают, протянув руки в пустоту и видя, как улетучиваются их тележки; но вот и они обращаются в ничто. От потребления я перехожу к производству. Упраздняю промышленность – легкую и тяжелую; свожу на нет сырье и источники энергии. А сельское хозяйство? И его туда же! А чтобы не говорили, будто я стремлюсь назад в первобытный строй, – упраздняю охоту и рыбную ловлю.

Природа… Хе-хе, думаете, я не понял, что вся эта затея с природой – то еще надувательство? Сгинь! Пусть под ногами останется твердый слой земной коры, а вокруг – пустота.

Моя прогулка по Проспекту продолжается. Теперь его не отличить от бескрайней равнины, безлюдной и обледенелой. Насколько хватает глаз, не видно ни стен, ни даже гор или холмов. Нет тут ни рек, ни озер, ни моря, только плоская, серая ледяная гладь, твердая, как базальт. Отказываться не так трудно, как многие полагают: стоит только начать. Достаточно однажды поступиться чем-то жизненно важным, и выясняется, что можно обойтись и без чего-то еще, много еще без чего. И вот я иду по пустынной поверхности, именуемой миром. Вихрем стелется поземка, увлекающая за собой остатки исчезнувшего мира: гроздь спелого винограда, только что сорванную с лозы; шерстяную пинетку грудного младенца; обильно смазанный кардан; страницу с именем Амаранта, вырванную из какого-то испанского романа. С тех пор как мир перестал существовать, прошло всего несколько секунд или много столетий? Я потерял чувство времени.

Где-то в глубине этой полосы из ничего, которую я все еще называю Проспектом, возникает тонкая фигура в светлом меховом жакете: Франциска! Узнаю легкую, стремительную поступь высоких сапожек; руки привычно запрятаны в муфточку; длинный полосатый шарф трепещется на ветру. Морозный воздух и открытая местность обеспечивают хорошую видимость, но я напрасно размахиваю руками, стараясь привлечь ее внимание: ей не узнать меня, мы слишком далеки друг от друга. Ускоряю шаг, во всяком случае, мне так кажется, поскольку ориентиров вокруг нет. Внезапно между мной и Франциской вырисовываются какие-то тени: это мужчины, мужчины в пальто и шляпах. Они поджидают меня. Кто это может быть?

Подойдя ближе, я узнаю их. Это люди из Отдела О. Как же так? Почему они остались? Что они там делают? Я полагал, что упразднил и их, когда вычеркивал служащих всех контор. Зачем они встали на нашем пути? «Сейчас я их вычеркну!» – думаю я, сосредоточиваясь. Какое там; стоят себе как стояли.

– Наконец-то, – приветствуют они меня. – Значит, и ты из наших? Молодец! Здорово нам помог. Теперь везде чисто.

– Как? – восклицаю я. – И вы тоже вычеркивали? Так вот почему я чувствовал, что на сей раз перестарался в упразднении окружающего мира.

– Но позвольте, разве не вы вечно твердили об увеличении, укреплении, приумножении…

– Ну и что с того? Одно другому не помеха… Все заранее согласовано и предусмотрено… Линия развития пойдет с нуля… Видишь, и ты понял, что дело зашло в тупик, кругом упадок… Оставалось одно – подтолкнуть процесс… По идее то, что за короткий отрезок времени не принесет результатов, в перспективе может послужить мощным стимулом…

– Я воспринимал это не так, как вы… И преследовал совсем другие цели… И вычеркиваю я по-другому… – возражаю я, а сам думаю: «Решили втянуть меня в свои замыслы. Не на того напали!»

Мне уже не терпится повернуть назад, восстановить упраздненный мир, постепенно или сразу; воздвигнуть прочную стену из его разноликого, осязаемого вещества, чтобы помешать задуманному ими всеобщему опустошению и обессмысливанию. Закрываю глаза в полной уверенности, что, когда открою их, снова окажусь на Проспекте: в это время уже зажглись фонари, усилилось движение; в киосках продают свежие номера газет. Ничего подобного: пустота окрест стала еще опустошительнее; силуэт Франциски на горизонте приближается еле-еле, словно преодолевает кривизну земного шара. Неужели мы единственные, кто уцелел? С нарастающим ужасом начинаю понимать, что произошло. Мир, который я считал вычеркнутым по воле моего сознания (и я мог отменить это в любую минуту), действительно исчез без следа.

– Нужно трезво смотреть на вещи, – замечают сотрудники Отдела О. – Оглянитесь вокруг. Даже вселенная – и та меня… скажем так, находится в стадии изменения… – И показывают на небо. Созвездия уже не узнать: там они рассеялись, тут сгустились. Небесная карта окончательно нарушена. Звезды одна за другой взрываются и, сверкнув напоследок, гаснут. – Главное, что Отдел О. полностью готов к приходу «новеньких». Все штатные единицы укомплектованы, рабочий механизм отлажен до мелочей…

– А кто такие эти «новенькие»? Чем они занимаются? Чего хотят? – спрашиваю я и вижу, как на промерзшей поверхности, отделяющей меня от Франциски, появляется узкая трещина. Мало-помалу трещина расползается, словно скрытая ловушка.

– Скоро узнаешь. Узнаешь то, что знаем мы. Пока что мы их даже не видели. Они существуют, это точно. Нас заранее предупредили об их грядущем пришествии… Но и мы существуем. Они не могут этого не знать, ведь мы представляем единственную непрерывную связь с тем, что было раньше… Мы им нужны. Без нас им не обойтись. Им придется передать нам практическое руководство оставшимся… Мир возродится таким, каким хотим его видеть мы…

Нет, думаю я, мир, который, по моему разумению, должен возродиться вокруг меня и Франциски, не может быть вашим. Пробую собраться с мыслями и нарисовать во всех подробностях место, обстановку, где мне было бы приятно очутиться в это мгновение с Франциской. Например, кафе с зеркальными стенами, отражающими хрустальные люстры; оркестр играет вальс; звуки скрипок порхают над мраморными столиками, дымящимися чашками и кремовыми пирожными. А на улице, за мутными стеклами, мир людей и вещей напоминал бы о своем существовании – дружеском или враждебном, радостном или яростном… Напрягаюсь изо всех сил, хотя знаю, что их недостаточно для возрождения этого мира: небытие сильнее, оно уже заполонило землю.

– Установить с ними связь будет нелегко, – продолжают сотрудники Отдела О., – тут важно не ошибиться, иначе окажешься вне игры. По нашему мнению, такой человек, как ты, поможет нам завоевать доверие новеньких. В ходе ликвидации ты показал, на что способен. К тому же ты меньше всех скомпрометировал себя при старом режиме. Ты сам представишься новеньким и расскажешь, что такое Отдел О. и каким образом они смогут его использовать для решения неотложных задач… В общем, сообразишь, как лучше все обставить…

– Тогда я пошел на их поиски. Я пошел… – проговариваю я второпях, потому что понимаю: если сейчас не убегу, если не догоню Франциску и не спрячу ее в надежном месте, через минуту будет поздно, ловушка вот-вот захлопнется. Бросаюсь наутек, прежде чем люди из Отдела О. успевают меня удержать, чтобы задать очередные вопросы и напичкать инструкциями. Я бегу к ней, Франциске. Мир сократился до листа бумаги, на котором сами собой выводятся только абстрактные слова, как будто все конкретные подчистую перевелись. Написать бы слово «банка», и можно было бы прибавить к нему

«кастрюля», «подливка», «дымоход»; но стилистическая заданность текста не позволяет этого сделать.

На поверхности, отделяющей меня от Франциски, образуются заломы, трещины, расселины. Каждую секунду я рискую провалиться в новые щели… Трещины неудержимо ширятся: скоро между мной и Франциской разверзнется глубокий ров, бездонная пропасть! Я перепрыгиваю с одного клочка земли на другой, а под ними – сплошное ничто, необозримое, бесконечное. Я несусь по обломкам мира, разметанным в опустошенном пространстве. Мир крошится, рассеивается… Сотрудники Отдела О. что-то кричат мне, отчаянно машут руками, призывая вернуться, не убегать… Франциска! Еще прыжок – и я с тобой!

Она здесь, она передо мной, улыбающаяся, с золотистым блеском в глазах; личико разрумянилось на морозе.

– Кого я вижу! Стоит выйти на Проспект, а ты уж тут как тут! Ты что, дни напролет гуляешь? Слушай, я знаю здесь на углу одно кафе, там еще стены зеркальные, а оркестр играет вальс. Пригласишь?

Глава одиннадцатая

– Читатель, пора твоему многотрудному плаванию завершиться в тихой бухте. Есть ли для этого более подходящее место, чем библиотека? Таковая наверняка найдется в городе, откуда ты пустился в путь и куда снова пристал после кругосветного путешествия из книги в книгу. У тебя еще теплится надежда, что десять романов, которые улетучивались из твоих рук, едва ты к ним прикасался, обнаружатся в библиотеке.

Наконец выдается свободный денек, и ты можешь спокойно пойти в библиотеку. Роешься в каталоге – и еле сдерживаешь радостный возглас, даже десять радостных возгласов: в каталоге аккуратно зарегистрированы все нужные тебе авторы и книги.

Ты заполняешь требование. Тебе сообщают, что в карточке, вероятно, неправильно указан шифр. Книги на месте нет, но они поищут. Ты немедленно заказываешь другого автора: он уже на руках, но кто и когда его взял, выяснить не удается. Третья книга отдана в переплет и поступит только через месяц. Четвертая хранится в левом крыле библиотеки, а там сейчас ремонт. Ты заполняешь остальные требования; по той или иной причине ни одной из указанных книг в наличии нет.

Пока библиотечные работники продолжают поиск, ты терпеливо ждешь, сидя за столом вместе с другими, более удачливыми читателями. Вытянув шею сначала влево, потом вправо, ты украдкой заглядываешь в их тексты: вдруг они читают что-нибудь из «твоих» книг?

Взгляд читателя, сидящего напротив тебя, устремлен не на книгу, а блуждает где-то в вышине. Однако это не рассеянный взгляд. В движениях голубой радужки угадывается пытливая острота мысли. Несколько раз вы встречаетесь глазами. Неожиданно он нарушает молчание, вернее, говорит как бы в пустоту, хотя обращается несомненно к тебе:

– Не удивляйтесь, что у меня все время блуждающий взгляд. Просто я так читаю. Только такое чтение идет мне впрок. Когда книга захватывает меня, то, уловив некую мысль, чувство, вопрос или образ,

содержащиеся в тексте, я отталкиваюсь от него буквально через несколько строк и перескакиваю от мысли к мысли, от образа к образу, уношусь по касательной собственных рассуждений и фантазий; я чувствую, что должен проделать этот путь до конца, отойти от книги совсем далеко, потерять ее из виду. Чтение, только чтение содержательное, необходимо мне; оно подстегивает меня, даже если в каждой книге я прочитываю всего несколько страниц. Но и эти немногие страницы составляют для меня целые вселенные, вечные и неисчерпаемые.

– Прекрасно вас понимаю, – вступает в разговор другой читатель, поднимая от книги восковое лицо с воспаленными глазами. – Чтение – процесс неравномерный, отрывочный. Или так: предмет чтения – материя точечная, распыленная. На вольных просторах написанного читательское внимание различает крошечные отрезки: словосочетания, метафоры, сценки фраз, логические переклички, изумительные языковые перлы, необычайно плотно насыщенные смыслом. Они словно элементарные частицы, составляющие ядро произведения, вокруг которого вращается все остальное. Или полая воронка внутри водоворота, всасывающая и поглощающая стремительный поток. Сквозь эти просветы вспыхивают едва уловимые сполохи истины, отраженной в книге: проступает ее глубинная суть. Мифы и тайны собраны по крупицам, неощутимым, как цветочная пыльца, оседающая на лапках бабочек. Только постигший это может рассчитывать на откровения и озарения. Поэтому мое внимание, в отличие от сказанного вами, сударь, неотрывно приковано к печатной строке. Я не должен отвлекаться, если не хочу пренебречь какой-нибудь драгоценной метой. Всякий раз, когда я нападаю на одну из таких залежей смысла, я должен тщательно окопать ее, чтобы установить, не тянется ли за самородком золотоносная жила. Поэтому у моего чтения нет конца. Читая и перечитывая, я ищу подтверждения очередному открытию в складках фраз.

– И у меня частенько возникает желание перечитать прочитанную когда-то книгу, – говорит третий читатель. – Но вот что интересно: как только я углубляюсь в чтение, мне кажется, будто передо мной новая книга. Наверное, я постоянно меняюсь и вижу новое там, где раньше ничего не замечал. Или чтение – это некая конструкция, которая

складывается из множества переменных и не может дважды повторить тот же узор? На месте прежних впечатлений возникают совсем другие, неожиданные, а прежних как не бывало. У меня порой такое чувство, что между первым и вторым чтением я заметно совершенствуюсь, в том смысле, что, скажем, начинаю глубже вникать в дух текста или относиться к нему более критически. В моей памяти будто хранятся рядом несколько прочтений одной книги: восторженные, холодные или неприязненные, разбросанные во времени без перспективы, не связанные между собой никакой нитью. И я пришел к такому выводу: чтение – процесс беспредметный; точнее, подлинным его предметом является оно само. Поэтому книга – лишь подсобное средство или попросту предлог.

– Если вы настаиваете на том, что чтение субъективно, – вмешивается четвертый, – то здесь я, пожалуй, с вами соглашусь. Однако у чтения нет той центробежной направленности, которую вы ему приписываете. Всякая новая книга входит составной частью в единую, совокупную книгу. Такая книга есть сумма моих чтений. Составить ее не так просто. Для этого каждая книга в отдельности должна преобразиться, найти точки соприкосновения с прочтенными ранее книгами, стать их итогом, или развитием, или опровержением, или толкованием, или ссылкой. Годами хожу я в эту библиотеку и одолеваю ее книга за книгой, шкаф за шкафом, хотя без труда мог бы доказать вам, что, в сущности, продолжаю читать одну-единственную книгу.

– Я тоже думаю, что все книги сводятся к единой книге, – произносит пятый читатель, высовываясь из-за стопки томов в твердом переплете. – Эта книга отдалена от меня во времени. Я помню ее крайне смутно. История, рассказанная в ней, на мой взгляд, предвосхищает все прочие истории. В них мне слышится ее далекий, затухающий отзвук. О чем бы я ни читал, везде и всюду я ищу ту книгу, прочитанную еще в детстве. Но моих воспоминаний слишком мало, чтобы ее отыскать.

Шестой читатель, стоявший у полок задрав голову, подходит к столу.

– Для меня важнее всего минуты, предшествующие чтению. Иной раз достаточно одного названия – и мне уже не терпится прочесть книгу, которой, может, и вовсе не существует. Или завязки, первых

фраз… Короче говоря, чтобы включить свое воображение, мне нужно еще меньше, чем вам: предвкушение чтения.

– А для меня куда существенней концовка, – замечает седьмой. – Только уж концовка так концовка: бесповоротная, разрешающая, скрытая во мраке, подводящая итог всей книге. Во время чтения я тоже стараюсь уловить сквозь просветы сполохи истины, – кивает он в сторону читателя с воспаленными глазами. – Но, всматриваясь между слов, я хочу разобрать, что же вырисовывается там, в необъятных далях, простирающихся за словом «конец».

Настал черед высказаться и тебе:

– Господа, должен сразу оговориться: я привык читать только то, что написано в книгах, выводить из частного общее и ставить на прочитанном точку. Я провожу четкую границу между книгами и отмечаю в каждой что-то новое, неповторимое. А главное, я привык читать книги с начала до конца. Но с недавнего времени все пошло наперекосяк. Как будто на свете остались одни незавершенные или растерянные по дороге сюжеты.

Тебе отвечает пятый читатель:

– Вот и я помню только начало истории, о которой говорил. А продолжение забыл. Вполне возможно, что это один из рассказов «Тысячи и одной ночи». Сейчас я сравниваю разные издания и переводы. Похожих историй много и вариантов уйма, но все это не то. Может, она мне приснилась? Я не успокоюсь, пока не отыщу ее и не узнаю, чем она кончается.

– Однажды ночью, – начинает он свой рассказ, видя, что ты сгораешь от любопытства, – халифу Харуну ар-Рашиду не спалось. Переоделся он в платье простого купца и вышел на улицы Багдада. Сел в лодку и приплыл по водам реки Тигр к решетке сада. Видит – на краю водоема женщина, прекрасная, как луна, поет и подыгрывает себе на лютне. Рабыня проводит Харуна в чертоги и облачает его в халат шафранового цвета. Женщина, что пела в саду, сидит на серебряном троне. Вокруг нее на подушках расположились семеро мужчин в халатах шафранового цвета. «Не хватало одного тебя. Ты опаздываешь, – молвит женщина и указывает халифу на подушку рядом с собой. – О благородные мужи, вы дали клятву слепо повиноваться мне. Настал час подвергнуть вас испытанию. – Женщина снимает с шеи жемчужное ожерелье и заводит такую речь: – В этом

ожерелье семь белых жемчужин и одна черная. Сейчас я разорву нитку и брошу жемчужины в ониксовый кубок. Тот, кому по жребию достанется черная жемчужина, отрубит голову халифу Харуну ар-Рашиду и принесет ее мне. В награду он получит меня. Если же он откажется обезглавить халифа, его лишат жизни остальные семеро. После этого они снова будут вытягивать черную жемчужину». Харун ар-Рашид раскрывает дрожащую ладонь, видит на ней черную жемчужину и обращается к женщине: «Я покорюсь воле рока и твоей воле, но с условием, что ты поведаешь мне, чем прогневал тебя халиф», – спрашивает он, с нетерпением ожидая ответа.

Твой список прерванных книг вполне можно пополнить этим отрывком из детских чтений. Только есть ли у него название?

– Даже если название и было, мне его уже не вспомнить. Попробуйте вы что-нибудь придумать.

Слова, на которых обрывается повествование, как будто удачно передают дух «Тысячи и одной ночи». Ты берешь свой многострадальный библиотечный список и выводишь в нем: *спрашивает он, с нетерпением ожидая ответа.*

– Позвольте взглянуть, – просит шестой читатель, снимает очки от близорукости, кладет их в футляр, открывает другой футляр, надевает очки от дальнозоркости и читает вслух:

«Если однажды зимней ночью путник, неподалеку от хутора Мальборк, над крутым косогором склонившись, не страшась ветра и головокружения, смотрит вниз, где сгущается тьма, в сети перекрещенных линий, в сети перепутанных линий, на лужайке, залитой лунным светом, вокруг зияющей ямы. – Что ждет его в самом конце? – спрашивает он, с нетерпением ожидая ответа».

Сдвинув очки на лоб, он говорит:

– Готов поклясться, что роман с таким началом я уже читал… У вас ведь только начало, и вы хотели бы найти продолжение, не правда ли? Беда в том, что когда-то так начинались все романы. Одинокий путник шел по безлюдной дороге. Вдруг что-то привлекало его внимание. Он думал, что в этом кроется некая тайна или предзнаменование. Тогда он принимался задавать вопросы. И ему рассказывали длинную историю…

– Нет, вы не поняли, – пытаешься ты объяснить. – Это вовсе не начало романа… Здесь одни названия… Этот *Путник*…

– Путник появляется лишь на первых страницах. Потом о нем уже не говорится. Он свое дело сделал… Книга-то не о нем…

– Да, но я искал продолжение совсем не этой истории…

Тебя прерывает седьмой читатель:

– Вы полагаете, что у каждой истории должны быть начало и конец? В прежние времена все истории заканчивались двумя способами: после всевозможных перипетий герой и героиня либо шли под венец, либо умирали. Главный вывод, вытекающий из всех на свете историй, двояк: непрерывность жизни и неизбежность смерти.

Ты на секунду задумываешься над этими словами. И мгновенно решаешь жениться на Людмиле.

Глава двенадцатая

Теперь, Читатель и Читательница, вы муж и жена. На широкой двуспальной кровати каждый из вас читает свое.

Людмила закрывает книгу, гасит свет, откидывается на подушку и говорит:

– Гаси и ты. Неужели не устал?

Ты отвечаешь:

– Еще немножко. Я уже дочитываю «Если однажды зимней ночью путник» Итало Кальвино.





ЕСЛИ ОДНАЖДЫ ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ ПУТНИК...

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА

Примечания

1

Старина (*фр.*).
Вернуться

2

Крыло света (*англ.*).
Вернуться

3

Крыло тьмы (*англ.*).
Вернуться

4

«Трактат о новых философских инструментах» (*англ.*).
Вернуться

5

«Великое искусство света и тени» (*лат.*).
Вернуться

6

«Натуральная магия» (*лат.*).
Вернуться

7

Списки слов взяты из сборников «Электронные выборки современного литературного итальянского языка» под редакцией Марио Алиней; Болонья, «Иль Мулино», 1973. Сборники посвящены трем романам итальянских писателей. – *Примеч. авт.*

Вернуться